Библиотека
Советских
Писателей

федор гладков

старая секретная



федор гладков • старая секретная

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СТАРАЯ СЕКРЕТНАЯ

ПОВЕСТЬ О БЫЛОМ



«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 3 0

БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
№ 4

Приложение к журналу «30 Дней» за 1930 г.

Главлит № А—65601 Заказ № 406 8 п. л. Тираж 35 000

Типография Госиздата «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16.

Трое в одиночке

ЭТО БЫЛА та самая камера, в которой сидел Чернышевский перед отправкой в Вилюйск. Камера-одиночка. А одиночка—это каменная узкая щель, в исцарапанных стенах, с сумеречным далеким потолком, и узкая щель—окно, закованное толстыми железными прутьями. И стена от решеток сползает до грязного столика крутым скользким жолобом. Сколько лет стоит под окном этот изгрызанный столик? Может быть, от дней Чернышевского. А может быть, исцарапали его руки обреченных на казнь.

Тускло зеркалится забронированная дверь с волчком посредине. Сколько человеческих рук толкалось в холодный металл, пахнущий ржой? Кажется, что воздуха в камере нет, а вместо воздуха—распыленный камень. Нет, это—нудная, застарелая вонь отхожего места. У двери, в простенке,—параша, обляпанная испражнениями. А наша одежда и штукатурка смердят баландой—кислой, протухлой капустой.

Наш корпус—столетнее длинное здание, вросшее в землю, похожее на конюшню,—старая секретная. Есть новая секретная, в другой части тюремной территории. Мы спрятаны за пятью концентрическими стенами, в центре внутреннего круга, из которого есть два выхода: один—по коридорам целого ряда корпусов, приросших друг к другу, другой—из дворика в дворик, через калитки внутренних стен. По коридору нашей секретной—тринадцать камер-одиночек, и шорохи жизни, заключенной в этих подвалах, едва долетают до моего слуха.

Я не могу ходить по камере, потому что я—не один: нас—трое на трех койках. В тюрьме уже нет одиночек: она—переполнена. У нас нет тишины. Когда мы молчим, за нас говорят мои кандалы. Они не молчат даже в часы нашего сна: как бы ни был крепок мой сон, я слышу

смеющиеся переливы железа,—слышу не слухом, а всем нутром, собою, точно эти железные ручейки играют по всем моим жилам, и в жилах моих—не шарики крови, а струятся растворенные цепи.

Однажды я проснулся глухою ночью. Кандалы хрустально пересыпались на моих ногах, а за волчком, в узком полуночном коридоре секретной, курлыкали призрачным отзвуком замурованные кандалы в других камерах. Я проснулся потому, что вспомнил: такие крики я слышал в детстве. Это были не цепи, а—змеи. Они курлыкали так же, когда проглатывали лягушек. В детстве мне было только любопытно, а теперь—страшно. Сердце замирало от ужаса, и я корчился в судорогах на койке, потрясенный кошмаром, и плакал в младенческих всхлипах.

Прахов поднялся на локте и посмотрел на меня угарными от сна, налитыми кровью глазами. Его рыжие вихры и буйная молодая бородка пылились янтарными искрами.

— Ну, ну... очухайся!.. Что тебя гнет?.. Разыгрываешь бабу от безделья, что ли?

А Митря рыхло встал с койки, неуклюжий, неустойчивый на ногах от юности, и пошагал к параше. Он чвыкнул слюну через зубы и шмыгнул носом. Не оглядываясь, стал внимательно смотреть вниз, в нутро зловонного ушата. И не Прахов возвратил мне сознание своим окриком, а—Митря. Он нашел более целесообразным подойти в этот миг моего душевного смятения к параше и сосредоточенно выполнить свои естественные обязанности. Я лег опять на койку и больше не мог закрыть глаз. Прахов еще качался на локте, и в сонных его глазах еще не угасла угрюмая усмешка и смутное ожидание.

Митря сел с ногами на койку, зевнул, помолчал, почесался. Потом крякнул и уткнул подбородок в колени. Лоб зрело наморщился, а в глазах тлела тоскливая мысль.

— Одно у меня горе: табачком обездолили, осина-борона. Без табачку в черепке—будто кислое молоко, а в нем завелись черви.

Прахов таращился через изголовье в его сторону и презрительно гримасничал.

— У тебя, балбеса, только и есть, что дрыхнуть на тюремной койке. А еще бунтарь, орясина! О чем ты думаешь, кроме параши?

— Нам, осина-борона, не о чем думать. Наше дело какое? Есть земля—паши, есть конишка—тряси гузном круг

дворишка. На землю все падки. Кабы не наша сила, давно бы вы нас, пролетары, слопали.

— На кой ты чорт нужен здесь? Воняешь только да брюхо ростишь.

Митря, занятый своими мыслями, чвыкал через зубы и был глух к обидным словам Прахова.

— И чего меня держат тут, в этом гайне? Ну, погнали бы, чай, на землю, что ли... Женился бы, завел бы хозяйство... В Сибири много дурной, беструдной земли... Чего в сам-деле?

Он раздражал меня своим слепым равнодушием к своему заточению и покорностью перед запертой железной дверью. Не скрывая своего презрения, я сказал ему брезгливо:

— Ты, кажется, и без того доволен своим положением: сыт, спокоен, в тепле. Чего ты жалуешься? У меня хоть кандалы, и на плечах—годы каторги, а ты—как на постоялом дворе.

Прахов ехидно покрутил головой, и глаза его налились пристальной злой насмешкой...

— Ты хвалишься, как монах в веригах: погляди, мол, господи, как я за народ страдаю.

— Да, я страдаю. А ты в том же положении, как и Митря. Нечего издеваться.

А Митря нудно мямлил с мужичьей назидательностью:

— Вам—привычно. Вы, городские, земли не чуете, к земле не привязаны. Вы и свободы не знаете. Свобода из земли растет, как хлеб. А какая свобода в городе? Тюрьма. Вот она, сволочь, какая... Стены—крепости, окошки—в железе, двери—в железе. И за нуждой человек ходит в кубышку. Дым, копоть, ералашь: или бьют, или жрут друг друга—не поймешь.

Прахов засмеялся и подмигнул в его сторону.

— Ну, ты дурачком не прикидывайся, паря. Подумаешь, какой навозный простофиля... А кто громил помещичьи усадьбы—не ты ли?

— Я против города шел. У барина-то у нашего какой заводище был в экономии—чистый дьявол. Он—в городе, барин-то, а из города, как паук, тенета плел,—на нашу землю лапу накладывал. Мы—за освобождение земли, за земной дух. Это—дело правое.

Он, Митря, не чувствовал стен тюрьмы: он говорил о них лениво и безмятежно. Этот плесенный воздух, отравленный человеческой гущей, не дурманил ему го-

лову, и сон его был здоров, крепок, без кошмаров, а кровь его ровно и густо лилась по жилам. Для него тюрьма не была тюрьмой, а только привалом—сараем, где он скучает от безделья на перепутье.

Он лег на койку и мечтательно забормотал, борясь с дремотой:

— Сейчас у нас навоз возят на поле. Святки. На кулачки дерутся. Хорошо бы теперь картошки горячей поесть, душа моя, осина-борона! Да вот табачку бы, эх!.. Скоро меня на место, должно, препроводят, надел дадут. Женюсь. Абы земля—везде жить можно. Оно сейчас хорошо, что держат. Куда пойдешь? Зима. Жаловаться не на что—и корм, и угол. Заботятся.

— Да ведь чорт ты этакий! Сам же тюрьму ругал...

— Ну, так что ж? Я о том ведь, как вы весь свет хотите под тюремный манер. Ну, это вам не удастся, осина-борона: мужик не допустит. Его вон сколь—миллионы! Все на мужике держится, а вас—малая шайка. Ты не гляди, что мужик молчит да в землю смотрит: он, брат, шерстобит хороший.

Прахов лежал на койке и мычал, точно у него болели зубы:

— Молчи, чорт, пока я тебе салазки не загнул.

— Загнул. Было дело... видали таких...

— Ну?

Прахов опять поднялся на локте и посмотрел через изголовье свирепыми влажными белками.

— Мужик—так и этак: и в хвост и в гриву. Мужик—дурак, а вы больно умные.

— Ну-ка, еще—слово. Замолчал?

— Замолчал... до поры, до время...

— Ну, то-то.

Я смотрел на них с любопытством: они казались мне забавными младенцами. Меня разбирал смех, но я старался изо всех сил сдержать потрясающую судорогу в легких. Мне хотелось спокойно, холодно изучить их—войти в их нутро, впитать в себя. Я это делал раньше, как обособленный наблюдатель, но потом они только раздражали меня до острого презрения и ненависти к ним. Они мешали мне жить, распоряжаться собой и думать. Но в этот миг Прахов кувыркался и строил рожи в моих слезах, а Митря уморительно шмыгал носом. В изнеможении от борьбы с собою я взорвался клокочущим хохотом. Сквозь слезные струи я увидел, как Прахов

огромной махиной плыл ко мне и дышал злобой и тревогой.

— Что тебя гнет, чортова морда? Перестань!

Он только был непереносно смешон и жалок, и его злоба терзала меня, как щекотка.

— Молчи же, дьявол! Блябну вот по башке... Замолчи!..

На одно короткое мгновение его лицо четко отразилось в моих глазах. Он тоже хохотал около меня и задыхался от усилий раздавить свои легкие. Хохотал и Митря, визгливо, как поросенок, и катался по койке в диком восторге.

По ночам в коридоре, за нашей дверью, струится тишина. Она поет дремотными вскриками, летающими шорохами шагов и невнятным говором надзирателей. О чем могут говорить надзиратели, сами проглоченные камнями? Эти тупые служаки, с тяжелыми связками отполированных ключей, будто сами звенят кандалами и сами обречены на вечное заключение. Безмолвия нет в тишине, и ночи полны незримого света, истекающего из человеческого мозга. В сумеречном свете ночника стены сжимаются плотнее, и мой ночной полусон не ласкает меня призраками милых сновидений, а невыносимо давит каменными глыбами стен.

Коридор не умирает никогда: из камер в дырки волчков непрерывно вылетают шорохи, возня и глухие голоса товарищей. В этих длинных пустотах всегда плавает и колышется жизнь. Стоит приложить ухо к волчку—и слышишь далекий неумолкаемый пчелиный звон. Раздается иногда замурованный смех, или вырывается взволнованный крик. Перезванивают кандалы, будто нечаянно рассыпают стекло. И потом—опять тишина и—шорохи, шопоты, шаги надзирателей. Эти шорохи насыщают стены, и они, как живые, дрожат и связывают меня с дыханием жизни неизвестных мне людей, спрятанных от меня за толстыми дверями.

Над моей головой, высоко, у потолка, вытекает по срезу стены, через ржавые переплеты решетки, окно, а из окна, мохнатого от инея, голубым руном сползает морозный холод. Я вспоминаю, что за окном—лунный декабрь, и воздух между луною и тюрьмой искрится кристаллами, а в черной бездне небес, тлеющих фосфо-

ром, разбрызганы другие кристаллы—звезды. В сахарных сугробах полей хрустят и улетают в блеске и свисте накатанные дороги в запахах лошадиного помета и упавшего сена с мужичьих саней.

В квадратах решетки окно цветет лучистыми хлопьями инея. Оно—мертво, в льдистых отеках, как бельмо, и пучится в железных гнездах мокрой, разбухшей затычкой. Иногда по вечерам мы ставим на столик табуретку, карабкаемся по очереди к окну и, вцепившись в железные прутья, дыханием своим плавим иней и лед на стекле. Мы видим небо, обрызганное звездами, и облачно-спокойный круг луны, тающий с краю. А внизу—тьма: зубрятся пилами черные пали, а за ними—грузно осевшие крыши тюремных корпусов.

Дни, цветущие снегом и мутно голубеющие в небесах, я вдыхал через каждые двадцать четыре часа на прогулках, и эти дни я осязал в солнечных сугробах, потому что солнце зимою—ближе и проще, чем летом: оно живет в снегах и волнуется, как море. Но лунные ночи—далеки, как детство, и, когда я ловлю на стекле зеленый огонь, мне грустно и до боли хочется жить прошлым. А это постоянное стрекотание в стенах, как осенняя капель,—мучительно надоедлива. Так, скрытыми в стенах телеграфными разрядами, связываются между собою отъединенные люди, которых я не видел никогда, и которые в дробных перестуках передают биение своего сердца. Мы, трое,—здесь, а там, близко и далеко,—они, но мы связаны этим пульсирующим трепетом, и толстые стены становятся прозрачными.

Прахов часто прикладывает ухо к стене и слушает. Он слушает долго, не видя нас, забывая себя, и в глазах его поблескивают холодные капли.

Митря—деревенский парень, аграрник. Прахов—рабочий-металлист. Митря прошел несколько пересыльных тюрем, но от него еще пахло солодом озимей, теплотой лошадиного пота и густым запахом мужицкой избы. Этот избяной дух—аромат кулаги—несли в себе и другие мужики во всех тюрьмах, и по этому духу они узнавали друг друга без слов, и этот дух сбивал их в свои, мужицкие, артели.

Здоровый и терпкий от избытка крови, Митря был чужой среди нас,—первобытный, живущой, покорный. По ночам он всегда спал мертвым деревенским сном, и мне

было странно, как он может спать без бреда и тоски, когда стены леденят душу, а впереди—бесконечное месиво дней на грязной плесени стен, и рядом, за стеной, в которую он дышит во сне, доживают последние минуты люди, приговоренные к смерти.

Там их всегда два-три человека, и они так же, как мы, кричат, спорят, смеются. Их голоса я всегда слышу, не через стену, а из коридора, через волчок—через маленькую дырку, зияющую в мир.

Обычно их уводили в неизвестный час, когда камеры умирали в тягостном сне. И никто не мог сказать по утрам, были ли последние вскрики уводимых на казнь, хрустели ли шаги солдат и тюремной стражи. Но когда камеры не открывались в обычный час поверки, и в коридоре, за волчками, была пустота и безмолвие, и тревога шептала где-то в недостижимой глубине каменных сводов,—мы знали, что смерть опять была у нас этой ночью, и шелест ее шагов еще не остыл в сумеречных погребах. Мы все просыпались одновременно в привычный утренний миг, лежали с открытыми глазами и, встречаясь взглядами, говорили друг другу без слов:

«Их уже повесили. Уберут последний столб, заметут следы на соседнем дворике и—откроют камеры».

И мы знали, что вечером, после поверки, приведут новых, и мы услышим сигнальное стрекотанье в стене:

— Товарищи, мы—с галстуками!

Прахов первый присасывался ухом к стене и взмахом кулака обрывал наши движения и голоса. Он жадно ловил этот дробный перестук, шевелил челюстями, и глаза его пьянели угарной слезой. А потом он стучал мослаком указательного пальца:

— На чем сцапали?

Мы привыкли к человеческим словам, преображенным в телеграфный лепет, и они через барабанную перепонку капали в мозг и трепетали потрясающим весельем:

— Побили бляху городовому...

— Споткнулись на маленьком эксе...

— Отшибли хвост лягавому...

— Вооруженное сопротивление...

Прахов злобно брякал кулаком по стене и грузно валился на койку.

— Сволочи!.. Мерзавцы!.. Сукины дети!..

И было непонятно, кто—сволочи и мерзавцы: те ли,

кто сидел за этой стеной, или те, кто бросил их сюда, в камеру смертников.

Потом — опять стрекотанье, торопливое, настойчивое:

— Товарищи, помогите! Яду или нож.

И мы, бессильные в помощи, виновато переглядывались и безнадежно махали рукой. Прахов стучал:

— Не можем. Все связи с волей порваны.

А в нас точно вбивали гвозди:

— Паразиты! Высунем вам языки из-за галстуков.

И потом там глухо рокотал хохот. Он кувыркался по коридору, залетал к нам в камеру, и от этого предсмертного смеха у меня замирало сердце. Эта камера не умолкала до поздней ночи,—до тех минут, пока не убивал ее сон. Может быть, эти неведомые нам люди уже не знали сна, а засыпали мы, и только, может быть, в нашем сне глохли их крики и смех. Я слышал, как надзиратель лязгал ключами у их дверей, и их окрик сейчас же немел в реве и лае смертников. Они орали исступленно, до одурения, и я знал, что у них оскаленные зубы и вырванные из век глаза.

— Пошел вон, мерзавец, грязная жаба! Что ты понимаешь в наших минутах тупым своим мозгом, паршивый раб?.. Вон!.. Долой, негодяй, собака, палач!..

И сразу же ярость их переходила в пьяное бешенство, и их веселье захлебывалось песнями и пляской.

И каждую ночь где-то в одной из тринадцати камер вдруг с визгливой болью, раненой птицей вылетала в коридор хриплая истерика.

В коридоре

Я смотрел в двери запертых камер, в волчки, живые от глаз. Это были не лица, а только горящие глаза в пустых квадратах, и эти глаза жили сами, отдельной жизнью от лиц.

Я подходил к каждой двери и кричал с неудержимым смехом:

— Доброе утро, товарищи!

Глаз кружился в каждом волчке, расцветал искрами, и в одно мгновение через него проходило множество волн.

Надзиратель командовал сзади:

— Ну-ка, ну-ка... не разговаривать зря! Не на свиданье, Шагай, шагай проворнее!

Но я не обращал внимания на его окрики и волновался от встречи с невидимыми товарищами, воплощенными в одних цветущих глазах. И всегда в эти минуты в душе у меня трепетала тревога и смутное ожидание: что-то должно совершиться в этих стенах. Оно совершится скоро и неизбежно, оно взорвется страшным бунтом и вырвет двери, изломает запоры и обрызгает стены кровью и мозгами. И в эти погреба ворвется солнце, ядреный поднебесный воздух, и грудь вздохнет глубоко и свободно.

Вместе с нашей камерой отпирали еще две соседние (смертников выпускали особо, с особой стражей), и коридор гремел музыкой кандалов, радостными криками и хохотом. Все были безалаберны и юрки, точно собаки, спущенные с цепи. Все толкались, мяли друг друга, обнимались и шалили, как ребята.

Замятин, учитель фабричной школы, размахивал длинными руками, как крыльями, и, брякая кандалами, ревел одну и ту же песню:

...Пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!
Вперед, вперед — на смертный бой,
Вперед, народ-титан!

Потрясая белобрысой шевелюрой и раздувая ноздри от скрытого смеха, он размашисто вскидывал руку, как оратор, и выл на весь коридор:

— Товарищи и братья! Хороший желудок и крепкие мускулы—залог действительной победы рабочего класса. Только побольше песен и железной дисциплины. А потому да здравствуют ветераны революции, почившие на лаврах в этом великом пантеоне! Свет и свобода—прежде всего. Гордитесь своими подвигами, гоплиты!

Дребезжали двери. Из волчков кричали «ура». Жизнь бурлила в камерах и плескалась из дырок—и криками, и глазами, и смехом.

Шли другие арестанты, в бушлатах—все серые, одноликие, с трупными лицами. Но застоявшаяся кровь уже бродила в жилах, напрягала мускулы, и все, будто пьяные, возились, боролись, пели вразброд, и глаза их блестели смехом от маленького обрывка свободы.

Мускулы Замятина требовали тяжелой работы, они давили его хуже цепей. Он бросался на кого-нибудь из товарищей, хватал его в охапку и подбрасывал выше

головы. Хохотал от наслаждения, обнимал другого, опять бросал и бежал вдогонку Прахову. Прахов становился в позу борца, и они с рычаньем сплетались руками и, наливая лица кровью, ломали друг друга, как быки.

Иногда Замятин подхватывал на бегу надзирателя Мизинчика и тащил его вплоть до двери. Мизинчик—деревенского вида детина, который тоже просил воловьего труда, а судьба забросила его в казематы, и он сам был похож на арестанта. Он заражался силой Замятина и неудержимо смеялся плоским, скуластым лицом. Он забывал о себе, как о страже, который должен быть глухим и слепым идолом, и сам бессознательно рвался из своих черных доспехов к борьбе и крикам. Но сразу же приходил в себя, в ужасе бился в лапах Замятина и задыхался от страха.

— Застрелю, мерзавца, арестантскую харю... Брось, говорю! Убью—и отвечать не буду...

А Замятин радостно кричал во весь коридор:

— Погоди, погоди, Мизинчик! Вынесу вот на двор, тогда и бахнешь меня из своего пистолета.

Все трепали бушлатами около них, прыгали, махали руками и заливались хохотом.

— Ура, Мизинчик!.. Браво!.. Загибай салазки Мизинчику!..

У последней камеры, в тупике, перед дверью во двор, меня останавливал грустный женский глаз Немиловича. Он блистал лихорадочной влагой чахоточного возбуждения и неудержимо манил своим уединенным восторгом. Может быть, это была одержимость узника, который уже пережил кошмары тюремного одиночества и постиг особую, скрытую жизнь казематов, где осели на стенах годы его заключения.

— Доброе утро, Немилович. Как себя чувствуете?

— Прекрасно! Чудесно!

— Поздравляю, Немилович. Кроме вас, этого никто не говорит. Вы—счастливый человек.

— А разве вы не чувствуете жизни, Угрюмов? Несчастья вообще нет. Это—самообман. Разве для человеческого мозга есть клетки и стены? Геометрические формы представлений—это иллюзорная относительность. Единственное несчастье для человека—это мертвая формула, в которую пытаются заключить человеческую мысль.

— Вы не правы, Немилович: мысль сама неизбежно воплощается в формулу. Без формулы нет и мысли.

Глаза его трепетали от внутреннего огня и не могли сдержать напора невысказанной радости.

— О, нет. Вы потому—в цепях, что фетишизируете формулу. Вы рветесь из гроба, но накладываете на него лишние обручи. Геометрия, вещи в себе, абсолюты... Но есть только один необычайный мир безграничной свободы, это—мир большого разума, мир озарений. Он не подчиняется никаким формулам и измерениям. Это—мое я, которое полно невыразимых чудес.

— Ну, а простые факты, Немилович? Вон там сидят смертники. Может быть, их сегодня повесят. Это не тревожит ваших озарений?

Его глаз немножко вздрагивал, но улыбка радости не угасала.

— Да, это—больно. Но эта боль только помогает мне переступить пороги и бездны. А это—прекрасно. Чем смерть хуже рождения? Только иное перемещение комплексов элементов энергии.

Мне хотелось сделать ему больно, и я смеялся, чтобы унизить его.

— Ну, я не думал, что вы, Немилович, такой жестокий и бессердечный человек. Жаль, что вы сейчас не в их шкуре.

Рука Мизинчика властно и мягко толкала меня к выходной двери. Он сурово хмурил брови, но глаза его были добродушны и пристальны, как у лохматой дворняги.

— И какой вас чорт затолкал сюда? Люди—хорошие, ума—палата. А какой здесь от вас толк?

— Ну, не лайся, Мизинчик. Ты благодари судьбу, что даем тебе кусок хлеба.

Он угрюмо замыкался и мычал в сторону:

— Подавишься от этого куска, ядренцы...

Прогулка

Двор—квадратный, с высокими бурыми палями. От времени они покоробились, прогнили в разных местах, и сквозь щели и дыры видны снежные просветы в соседний дворик женской секретной. Я ослеплялся солнечной белизной и пьянел от морозного воздуха, звонкого, как молодой лед. Вверху—только небо, а солнце—близко и осязаемо. Оно растворено в воздухе: его нет, обособленного и недостижимого. Я чувствовал свою горячую кровь, и мне было хорошо, бодро, хотелось кричать и смеяться.

Хотелось потрогать и погладить снег—ощутить его обжигающий блеск.

Товарищи отмеривали шагами дорожку, ползущую около палей квадратным периметром, а черная фигура надзирателя (не Мизинчика) неподвижно стояла посредине двора, в ямке, вытоптанной в снегу. Что думал этот надзиратель, неизвестный по имени, бородатый, с незрячими глазами, голос которого я слышал только в окрике?

В этот день Прахов ходил замкнутый и сутулый,— о чем-то сосредоточенно и сурово думал. Здесь, среди снега и неба, он казался чужим и далеким, и думы его были мне неведомы. Он только раз скользнул по мне ресницами, белыми от инея, и глаза его издали показались слепыми, в бельмах.

Замятин форсисто брякал кандалами, задрав голову на спину. Так же, как в коридоре, он размахивал руками и пел, сплетая одну песню с другой, меняя слова и мотивы. Пел и лукаво посматривал на надзирателя: он дразнил его. Надзиратель время от времени выходил из оцепенения и зыркал на него белками:

— Ма-альчать!..

Замятин никогда не надевал бушлата: он «закалялся» для предстоящей борьбы с природой, потому что будущее для него сопрягалось с бурными возможностями, полными невзгод, скитаний и подвигов. Он, очевидно, и в камере не чувствовал каменных стен: кровь его не застаивалась—стены не мешали ему двигаться—шагать, размахивать руками и напрягать легкие: кричать, петь, смеяться.

Его трубный голос был непослушно весел, как всегда:

— Ах, мороз-морозец, молодец ты знатный!.. Ходишь ты в сосульках, как чучело гороховое... Хочется мне скувырнуть этого гнусного стража... Вот идолище поганое!.. Я не хочу, о, други, умирать—хочу любить... но не молиться и не страдать, чорт возьми, а ломать ребра... Всех буржуазных поэтов—к кобыле под хвост. Теперь должны родиться поэты победоносного пролетариата... Дорогу революционному искусству!..

Я шел около палей и смотрел в прорехи, во дворик женской половины. Там—тоже снег и воздух в морозный пыли. Мимо серыми тенями мелькали обрывки женских фигур, и снежный огонь то вспыхивал, то погасал.

Я остановился и торопливо позвал в полуголос:

— Товарищ, задержитесь на секунду!..

На меня смотрело бледное лицо с морозным румянцем

на щеках и на кончике носа. Глаза, открытые во весь размах, были холодны, пристальны и озабоченны. И все лицо, с одной вертикальной морщинкой над переносьем, у левой брови, немного помятое тюремной ночью, точно спрашивало: зачем вы мешаете мне, когда я выполняю неотложную работу? Эти приглаженные до глянца волосы на висках оглушили меня неожиданным изумлением.

— Ольга! Ты—здесь? Давно ли?

Она не изменилась в лице, встреча со мной будто совсем не обрадовала ее: будто она рассталась со мною только вчера.

— Ах, здравствуй!.. Я уже знаю, что ты здесь. Пройди еще круг, и мы опять встретимся. Хочу сказать тебе очень важное...

И исчезла, и глаза мои опять ослепили солнечные искры, летающие в воздухе.

Певучим перекликом зазвенели, засмеялись девичьи голоса по ту сторону палей.

— Товарищ, товарищ!.. Ну, подойдите же, товарищ!.. Мужчины!.. Дайте вас понюхать немножко, мужчины... Сюда! Скорее же, мужчины!

Горласто, по-мужски, кричала надзирательница. Этот голос спугнул их, как воробьев.

— Это—анархистки, чортовы куклы! Ах вы, блудницы, стервочки!..

Замятин жадно и пьяно заглядывал в щели и тяжело дышал от возбуждения.

— Это—так называемый песок в революции, идущий на посыпку арены. Ошибаетесь, голуби, называя их пеной, сором, накипью. Это—необходимый элемент в армии бойцов, как знаменитые маркитантки в войсках Наполеона или сестрички в нашей японской трагикомедии.

Он шел позади меня твердо, легко и отзванивал кандалами бравый марш.

— Чорт подери, я скоро буду ломать двери камеры: я так не привык жить. В воздухе носится беспокойство. Ты хорошо владеешь носом, Угрюмов? Если ты не страдаешь насморком, и мозги у тебя—не простокваша, то должен чувствовать, что камеры лопнут от взрыва. Мы задыхаемся и превращаемся в мумии. Мы должны открыть камеры. Этот черный мерзавец похож на паука, а снег— на паутину, и мы, как мухи, путляемся в тенетах. Это

нужно немедленно уничтожить. Нам нужно завтра же объявить голодовку.

Накануне мы, как обычно, говорили с Праховым о голодовке. И опять мы долго не спали и волновались от неизбежности борьбы. Как староста, Прахов обходил камеры каждый день и, когда возвращался, ругал матом анархистов. Они не отказывались от борьбы, но требовали для себя свободы действий: никакой диктатуры, никакой дисциплины, они будут поступать так, как им заблагорассудится.

— Объяви голодовку, и эти прохвосты будут провоцировать самым нахальным образом. Подожди ж, я их скручу арканом.

И мы только говорили о будущей борьбе и волновались от собственных слов.

А сейчас я только думал об Ольге. Почему она не дала знать о себе? Она осталась на свободе, когда я был уже закован в кандалы, а теперь она—здесь. Значит, организация разгромлена. Если уж она—изумительный конспиратор—в стенах этого сибирского централа, то что же с другими, которые учились у ней быть неуловимыми? Кто же был предателем среди них?

Замятин дышал, как лошадь, и пар от его дыхания клубился у моего плеча.

— Вы видите, Угрюмов, как Прахов ворочает мозгами? Не гуляет, а пашет. Его тревожат анархисты. Чорт с ними! Их—малая горсточка, а за дезорганизацию их можно раздавить, как мокриц. Тюрьма делает людей кастратами: некоторые превращаются в юродивых, как преподобный Немилович, а другие по-бабьи бьются в истерике. Мерзость! Бурная гибель дороже безмятежного покоя. За предсмертные муки даже в лапах палача я отдам полвека мещанского счастья, а тем более тюремного успокоения. Итак, решено и подписано.

Митря ковылял у палей и жалобно мычал:

— Господин надзиратель, как бы насчет лопатки? Я бы снежок здесь побросал—дорожку расчистил. У мужика без работы брюхо болит, а руки—как коровьи хвосты.

Надзиратель не смотрел на него и урчал в бороду, учительно и строго:

— Ма-альчать! Шагай круговоротом и мальчи. Что есть арестант? Арестант есть человек, лишенный природного места. Ты есть не дерево, а пень, и сей корчуется в испальнение закона.

Прахов вскинул на него свои бельма и угрюмо гавкнул:

— Страж! Заткни бородой глотку. Ежели ты на положении цепного пса, так не забудь: мы—матерые волки. Молчи и держи в памяти.

Надзиратель был невозмутим и неподвижен, как чучело.

— Я и так мальчу. Пес не пес, а мое дело мальчать и охранять закон. Это—правильно.

Ольга опять смотрела на меня глазами, далекими от собственных чувств. Я никогда не видел ее лица в минуты скорби. Я запомнил ее в день провала нашей подпольной типографии, когда я, затравленный, спасался от преследования полиции. Я увидел ее случайно на улице. Мы прошли мимо и не узнались. Глаза ее, как всегда, были чисты и ясны, и лицо озабочено мыслью о текущих делах. Она успела только шепнуть мне:

— Скройся пока на кирпичном заводе. Пустая печь. Ночью приду.

А ночью я был там арестован.

Вот теперь ее глаза такие же неподвижные и льдистые. Они смотрели на меня, но я в них не отражался.

— Наша организация разбита. Все—по тюрьмам. Каторга и ссылка. Несомненная работа провокатора. Супруги Гельгеры остались на свободе. Были в тюрьме, но выпущены. А один из них ведь член комитета. Это—загадка.

— А ты, Ольга? Может быть, вместе, на каторгу?

Она улыбнулась ярко, как девочка,—улыбнулась впервые. Эта улыбка у ней всегда была неожиданной и проникновенной, и улыбку эту я всегда ждал, но она меня заставала врасплох. Смешная Ольга! Она совсем не изменилась: по конспиративной привычке она не ответит мне и в следующий раз. А если настоять—ответит невразумительно, сквозь зубы.

И—опять девичий смех и переклик у забора.

Замятин ласково ворковал со спазмами в горле:

— Милые девочки! Ваш анархизм такой простой и трогательный. Дайте дотронуться до ваших целомудренных пальчиков. Милые мои блудницы!..

— Товарищ, товарищ!.. Ну, сделай так, чтобы в одном этапе. Ну, сделай!.. Ну, миленький! Ну, родненький!..

Снег горел изнутри огненно-сахарным блеском, и небо было близкое и прозрачное, как молодой лед на реке. Это—наш мир, доступный нам ежедневно на полчаса. Этот отрезок вселенной раздвигал грани нашего зрения,

и сердца наши ныли от тоски по свободе. Она, свобода, неощутима, как стихия,—она безгласна и буднична, когда плаваешь в ней и дышишь ею, но она—мучительный, медленный яд, когда она только тлеет образами воспоминаний. И противоядие—только сама свобода или ее подстановка—иллюзия, созданная безумием.

Ольга была недостижима для меня. Она—тут, рядом, за деревянными палями, но она казалась мне призраком сновидения. Я ощущал ее дыхание, но не мог дотронуться до ее руки, не мог обнять ее и сказать ей полнокровного слова.

Серые бушлаты гуськом шагали около палей и дышали паром. Шагали, путаясь в длинных полах. Один—в кандалах, другие—без кандалов. А кандалы курлыкали и играли на ногах, весело и надоедливо. И в груди, где-то около сердца, волочились змеи. Около палей, где щебетали женские голоса, все тормозились, сталкиваясь и путаясь в толчее, рваными голосами перекликивались, как голодные самцы, и, слепые, улыбались, как дурачки, и натужно отходили прочь, оглядываясь и раздувая ноздри.

Жмурки

В распахе двери стоял новый помощник в тулупе и мохнатой папахе. Усы и растрепанная бородка стекали сосульками. Он в близорукой прищурке всматривался издали в камеру и похож был на случайного гостя, испуганного нутром наших казематов. Мы переглянулись с Праховым и оба подумали: четвертый сожитель? Черная борода старшого лошадиным хвостом в сизых волнах лежала на шинели. Стоял он браво, и грудь его была широка и могуча, как у генерала. За их плечами мотылялась баранья шапка Мизинчика.

— Староста Прахов, в контору. Начальник ничего не понимает, что нацарапано на вашей бумаге. Он думает, что это—бред сумасшедшего.

Прахов встал с койки и, засунув руки в карманы, сказал строго и назидательно:

— Скажите вашему начальнику, что он—дубина. Прикатите сюда эту жирную бочку: пусть понюхает, чем мы пахнем.

Тулуп дрыгнул папахой и махнул длинным рукавом.

— Старшой, проводи поверку. Я сам выясню, что надо.

Старшой взметнул бородой и шлепнул варежкой по волосатой папахе. Повернулся кругом-марш и скрылся за дверью.

Человек ввалился в камеру пухлым ворохом овчины и остановился вплотную перед Праховым. Лицо у него было маленькое, в нездоровой опухоли, но тощее и бледное, сточенное на-нет в бородке. В длинных черных ресницах глаза казались грустными и отравно-пьяными. Он пристально вглядывался в Прахова, улыбался через алкогольный жарок, выдирал из усов и бороды сосульки и гримасничал.

Прахов сложил руки на груди и смотрел на него насмешливо и вызывающе. И по их глазам видно было, что они знали друг друга, но играли комедию, как враги.

— Так вот... уважаемый Прахов... Что? Думал, что исчез, как таракан в щелке?.. Дынников—вот, и в такой же шкуре...

Прахов был спокоен и непроницаем. Он быковато, вприщурку смотрел на помощника и усмехался с любопытством человека, отвыкшего от забавных зрелищ.

— В чем дело? Вы тычете не в бровь, а—в пустое место.

— Та-та-та, шкура дрожит, как на кошке... Как? Революционер!.. Как оно... да, да, Прахов...

В этом человеке была какая-то червоточина, которая не давала ему покоя. Роль тюремщика совсем не шла к нему: он носил эту нелепую маску, как я—кандалы. Здесь была непонятная мне игра, и они оба ловили друг друга с завязанными глазами.

Вдали, по коридору, громыхали замки. Флейтами пели двери и глухо вздыхали, выдавливая воздух из камер.

Прахов вскинул на меня вздрагивающие веки: глаза его кружились осовелой слепотой. Они лгали, притворялись и прятались внутрь за судорожную усмешку, и от рыжих бровей и огнистой молодой бороды, сбитой войлоком, пахло жаром волнения. И я не мог понять, почему они обманывают друг друга, почему они, пойманные и тем и другим, фальшиво водят друг друга за нос. Впрочем, фальшивил только один Прахов. Может быть, у него была тайна, которую знал помощник Дынников, и он боялся, чтобы я не узнал ее из его болтовни?

— Скажи-ка, Угрюмов: ты что-нибудь понимаешь в этой антимонии?

Я замкнуто и отчужденно промолчал.

Дынников близоруко посмотрел в мою сторону, точно впервые заметил мое присутствие, и засмеялся. Это был не смех, а что-то в роде недоуменного клохтанья:

— Хлык-хлык-хлык...

Но глаза были переутомлены неугасимым возбуждением и жили своей, отдельной жизнью.

— Так-с... Ты хочешь быть страусом?.. Великолепно! Ведь я тоже умею играть в жмурки не хуже тебя.

Прахов крякнул всем нутром, и тело его дрогнуло мускулами.

— Ну, и нечего болтать языком. В чем дело?

Они пристально и близко касались друг друга, и в их переглядке было больше скрытого смысла, чем в их необычных словах. В этой их немой борьбе глаз струною натягивалась непостижимая для меня ненависть.

Дынников уже не говорил, а шептал, и этот шопот был похож на бред сумасшедшего.

— Наталья Ивановна, твоя супруга, просит свиданья. Но ей скорее нужен доктор, чем ты. Ты и ее не знаешь? Хлык-хлык...

Прахов выпрямился с треском в костях, и в лице его кровью напрыжился зверь. Он отошел от Дынникова и скрипнул зубами. Лицо Дынникова коверкалось улыбкой.

— Хлык-хлык...

С огромным напряжением воли Прахов встряхнулся и твердо поставил себя на ноги.

— Ну, довольно... позабавились... Здесь сидит только Прахов, арестованный в порядке охраны. Тем, кто интересуется моей судьбой, скажите, что я здоров, как стоялая лошадь.

Дынников закашлялся смехом, и лицо его стало мокрым и студенистым. А глаза, отдельно от лица, пьянели злобой и ненавистью.

Он взмахнул полами и вышел в коридор, и камера после него вдруг стала пустой. Дверь метнулась из коридора и с визгом захлопнулась. Прахов подошел к волчку, постоял немного, подумал и прислушался.

Если в бездонные часы нашего сидения в камере Прахов рассказывал о баррикадах, об уличных боях, о том, как он два дня держался с горсточкой людей против регулярных солдатских частей, о своем бегстве из тюрьмы и скитаниях по России,—то почему он ни разу не упоминал о Дынникове, о женщине, которая стояла между ним и этим тюремщиком? Какие нити связывали его

с этим человеком? Я не мог взглянуть ему в лицо и знал, что он тоже не смотрит на меня. Внезапно и незаметно между нами выросла мутная тень. На одно короткое мгновение мы встретились глазами, и в его глазах вздрагивала пытливая и знающая насмешка.

Он опять отвернулся и быстро наклонился над волчком. Выдыхая каждое слово отдельно, он выгибал колесом спину и напирал на дверь, точно хотел ее выдавить.

— Товарищи! Требуем начальника тюрьмы. Мы не допустим, чтобы с нами обращались, как с собаками. Мы не можем терпеть этого варварского режима. Мы объявляем борьбу не на живот, а на смерть. Не надо поддаваться провокации: все—как один. Начальника тюрьмы, товарищи!

Вперерез ему кричал, захлебываясь, чей-то юношеский голос:

— Товарищи! Тут не может быть никаких разговоров... Вспомните, товарищи, как мы боролись... Нам нечего терять, кроме цепей, товарищи...

Где-то колотили в дверь несколько ног, и издали коридорные пустоты грохотали огромным барабаном. Кто-то свистнул пронзительным, разбойничьим свистом. Задрожали стены, и по коридору завыли порывы ветра. Несколько голосов, заглушая друг друга, надрывались, как в истерике:

— Долой!.. Подавай сюда, мерзавца!.. Голодовка! Голодовка!.. Долой палачей!..

Взорвались и ожили в бурном смятении могилы, и двери в железной броне заскрежетали замками. Страдания, кровь, тоска многих тысяч узников, проглоченных за долгие годы камнями, заклокотали из стен, разбуженные ревом живых. Я слышал только вой стен, лязг и гром железа: так не могли потрясать столетних сооружений простые человеческие крики, а ярость людей, которые сейчас копошились в этих кубических ямах, была ничтожна, чтобы вызвать трепет сырых казематов.

Митря кувырнулся с койки и сразбегу грохнулся в железную обшивку. Забухала дверь и задребезжала на петлях. Прахов стоял в углу, около двери, и прислушивался в оцепенении к буре, которую он вызвал сам. Он будто не хотел принимать участия в этом бешенстве и стоял, спокойный и равнодушный, теребил волосы из бороды и усов, тянул их в рот и откусывал кончики.

Взрывно бухали двери, и рев толп, запертый, глухой, и звон кандалов потрясали стены, бушевали в рыжем сумраке пустынного коридора, срывая грязь и пыль со штукатурки. Ветер ворвался и в нашу камеру. Сердце разбухало и распирало грудь. Неудержимо хотелось броситься к двери, закричать изо всех сил и забарабанить в железо и руками и ногами. Нестерпимое наслаждение и восторг разрывали легкие. Задыхаясь и теряя сознание, я встал на свою койку, потом прыгнул на табуретку и упал на пол. С лихорадочной торопливостью вскочил на ноги, но запутался кандалами в ножках опрокинутой табуретки. Надрываясь от рева, я схватил ее одной рукой и со всего размаху бросил на пол. Она была уже старая и от удара разлетелась в щепки. Слепой и пьяный, я начал топтать ее в остервенении и ярости. Толкаясь о койки и падая на них, я прыжками добрался до двери и начал стучать в нее кулаками, ногами и головою. Что я кричал—не знаю, но кричал до хрипа, до изнеможения. Около моего лица брякнула связка ключей, и черная борода метнулась в волчке конским хвостом. Там, за дверью, бегали по коридору надзиратели и бешено выли вместе с заключенными.

Это были не камеры, а клетки зверинца. Это был рев, визг и стоны животных, закованных в железо, обезумевших в неволе. Где-то—не то близко, не то далеко—взрывались бомбы.

У моих ног лежал Митря и топотал ногами в дверь. Вероятно, он тоже кричал в безумном припадке, но я не слышал его, потому что не слышал себя.

Сильные руки рванули меня за плечи и отбросили назад. Прахов смотрел на меня злыми, вспыхивающими глазами. Он подошел к Митре и ударил его ногою по заду. Митря внимательно и испуганно взглянул на него, послушно отполз к параше и сел, крепко связав руками колени.

Прахов сгорбатился над волчком, и лопатки его прыгнули над рубахой. Жилы разбухли под ушами от натуги. И в то же мгновение оглушительно брякнула связка ключей по волчку. Этот удар отбросил Прахова назад. Он прикрыл ладонью рот и пристально посмотрел на меня с младенческим изумлением. Потом медленно отнял руку ото рта и так же пристально и изумленно посмотрел на ладонь. Пальцы были в крови, а по бороде прыгали черные и огненные капельки.

Грохот и рев затихали. Только в дальних камерах еще вопили и лаяли псы. Волны бешенства и бунта откатывались в тишину. Камеры опять всасывали жизнь в свои утробы: двери были слишком тяжелы и надежно закованы, чтобы выдержать напор человеческих тел.

Старший надзиратель бегал от двери к двери и хрипел, размахивая ключами:

— Ах, вы, дармоеды!.. Ошметки поганые!.. Я покажу вам, где раки зимуют, мерзавцы!..

В нем было все—и борода, и непомерно маленький носик, как клюв, и лошадиное тело—все было налито тяжелой силой верного сторожа зверинца. Точно впервые я увидел ремни, которые опутывали его крест-накрест: в этих ремнях был весь ужас этой грозной фигуры. Он мог делать все: и быть палачом, и пороть каждого из нас, и проламывать ключами черепа. Это он приходил в глухие ночи беззвучной поступью в камеру смертников и бородой своей и ремнями убивал людей еще до виселицы.

Затихала последняя волна потухающих голосов. В квадрате волчка уже тускло мерцала пустота, и попрежнему призрачно рокотало эхо далеких успокоенных движений и ручейкового перелива кандалов.

Я лежал на койке и тяжело дышал от пережитого восторженного потрясения. Митря сидел, подложив под себя босые ноги по-турецки, и ржал жеребенком. Он смотрел на разбитую табуретку и качался вперед и назад.

— Как он бякнул ее!.. Вот достукался, сопатка... На чем же сейчас сидеть-то будем?.. Как это я раньше не догадался? Я бы всю ее измочалил, осина-борона...

Прахов шлепнул его по спине и затрясся от смеха.

— Ну, что, деревня? Здорово я тебя саданул по заднице? Ничего, брат: казаки больнее драли.

Митря забычился, но качаться не перестал.

— Что ж, что казаки? Казаки—за дело. А ты что ногам волю даешь?

— Да дуботол ты этакий! Чего ты прешь, как бык? Тут с умом надо, а ты под ногами треплешься. Детина!

Это внезапное добродушие и веселая болтовня Прахова, когда у него еще алели капли крови на бороде и рубашке, казались мне некстати: в них не было искренности—голос был фальшив и беспокоен. Оттого ли, что я был свидетелем их странной игры с Дынниковым и почувствовал какую-то тайну в переплетении их жиз-

ней, или оттого, что его оглушило имя женщины, которая была рядом, за стенами тюрьмы,—он волновался и никак не мог поставить на место своего сердца. В этот миг что-то чужое и враждебное было в его движениях, в платье, во всем его облике.

Он вплотную подошел ко мне и засунул руки в карманы. В прищурке его были насмешка и вызов.

— Ну? В чем дело? В какую ноздрю попала заноза?

Бунт

Впереди шел Дынников и парусил лохматыми полами тулупа. Длинные космы папахи трепались по лицу, и глаз его не было видно. Издали лицо казалось непомерно маленьким и стекало вниз жидкими мокрыми усами и острой бородкой. Нос был нервный и твердый, будто роговой.

За ним огромной бурдючной глыбой, шоркая уродливыми сапогами, переваливаясь с боку на бок, колыхался начальник тюрьмы Мамырин, иначе—Мымря. Под белой косматой папахой лицо его лежало на вздутой шинели красным куском мяса. На дряблых складках и отеках кожи скудно мохрилась серебристая шерсть в клочках и плешах. Глаза были бесцветные, маленькие, утомленные ожирением. И весь он был не человек, а монгольский бурхан, с влажной улыбкой алчного благодушия.

Позади, конвоирами,—старший надзиратель с угрожающей бородой и просто надзиратель с длинными жандармскими усами вразлет.

Мы с Праховым стояли рядом около двери своей камеры, а у волчков по всей линии коридора дежурили глаза, готовые лопнуть от жажды бунта.

Мизинчик бренькнул ключами, отмахал три шага вперед и сделал налево-кругом.

— Смирно!

Прахов добродушно ухмыльнулся.

— Полегче, Мизинчик, а то штаны порвешь от усердия. Пугало!

Не видя нас, раздавленный собственной тяжестью, Мымря боролся с одышкой и никак не мог устойчиво стать на одном месте. Дынников был замкнут и почтительно напряжен, и только по вздрагивающим усам видно было, что он непрочь принять участие в наплывающей буче.

Он прятал глаза под папаху, но мне чудилось, что они светятся под черной шерстью кошачьими огоньками. Это он приказал открыть нашу камеру, это он притащил сюда Мымрю и изломал обычный распорядок тюрьмы. И в голосе его, и в словах, и в жестах было что-то тревожное, неустойчивое, совсем не свойственное застывшему каменному покою старой секретной.

Мымря в ответ на команду Мизинчика, как глухое эхо, промычал устало и рыхло:

— Здорово, господа!

Заложив руки в карманы, мы молчали. У нас было так положено—не отвечать на приветствие тюремщиков. И когда, во время поверки, отворялась дверь камеры и надзиратель кричал обычное: «Смирно!», мы старались усердно и любовно смотреть друг на друга, болтать всякий вздор и делать вид, что решаем вопросы глубокого философского значения.

Прахов вышел вперед, на середину коридора, и, выщипывая волосы из бороды, быком уставился в пол.

— Мы потребовали вас сюда...

Точно внезапный удар потряс Мымрю: дрогнула папаха, губы запрыгали, и лицо стало сизым и влажным.

— Эт-то что такое?.. Я не допущу, чтобы государственные преступники нарушали правила моей тюрьмы. У них не может быть никаких требований. Я подавлю это раз навсегда... Тюрьма должна быть и будет тюрьмой: здесь человека нет, а только его препарат.

Он свирепо посмотрел на Мизинчика и с усилием поднял раздутую руку.

— Почему не на месте арестанты? Эт-то что такое? В камеру!

Из камер выпирались двери, и из волчков рвались оскаленные голоса:

— Долой эту скотину, мерзкую квашню!...

— Бычья туша! Ты сам свиной препарат... К чорту!..

— Харкните ему в толстую морду, вонючей лявре... Бери на абордаж, Прахов... Чего вы лимоните, сволочи?..

Прахов пощипывал бородку и, ухмыляясь, посматривал на Мымрю из-под бровей.

Я шагнул вперед, и звон кандалов раскололся стеклом в груди.

— Этот ваш хамский язык—долой! Мы не позволим издеваться... Довольно!..

Прахов тоже шагнул вперед и стал со мною бок о бок.

— Наши требования вам известны. Я могу повторить их еще раз. Ни на какие уступки мы не пойдем и объявим голодовку.

Мымря выворачивал белки и дергал головой, точно его схватили за горло. Губы его покрылись белой накипью. Он перевалился в сторону Мизинчика и заревел придушенным хрипом:

— Как ты смел открыть камеру, мерзавец? Я тебя под суд отдам, каналья...

Мизинчик безмолвно вытянулся, неуклюже вскинул руку с ключами к шапке, и глаза его стали пустыми и мутными, как у слепого.

Дынников вполуоборот стал перед Мымрей и с наглой почтительностью изогнулся перед ним.

— Камера открыта по моему распоряжению. Староста во всякое время имеет право требовать открытия дверей по делам секретной.

— Не забывайтесь, помощник. Только с моего разрешения.

— Никак нет. С разрешения дежурного помощника.

С секунду они неподвижно и пристально смотрели друг на друга, и Мымря, укрощенный, сразу обрюзг, и лицо его тестом потекло в щеках на шинель.

Прахов как будто не прерывал своей реплики и с прежней усмешкой упрямо смотрел в пол.

— Я еще раз повторяю наши требования: камеры должны быть открыты на целый день между поверками, свободный доступ газет и книг, свидания с политическими женщинами, хозяйственная коммуна и непосредственное наблюдение над кухней, еженедельно—баня.

Прахов не успел докончить последних слов: камеры бурной волной ринулись в коридор. Стены опять задрожали ревом и бешенством.

— Долой палачей!.. Долой варварский режим!.. Никаких уступок!.. Голодовка!.. Голодовка!..

Этот бешеный гам и грохот запёртых ржавым железом дверей оглушительным шквалом опрокинули чинную строгость черных фигур. Они сбились плотно, плечом к плечу, и в их лицах заколыхалось волнение. Глаза озирались, беспокойно блуждая по пустоте коридора. Дынников оставался попрежнему неподвижным и нервно замкнутым. Мымря таращил белки на Прахова и чавкал от удушья. Старший надзиратель, с пьяным переливом в

глазах, трепанул бородою и угодливо склонился к белой папахе Мымри.

В груди у меня опять начали биться крылья. Сердце стало большим, больше грудной клетки. Оно рвалось и кричало бурей голосов. И будто не камеры орали и бесились за волчками, а буйствовало и взрывалось сердце. Кровь горячим напором обливала лицо, и мне неудержимо хотелось броситься на этих людей—топтать их, бить, уродовать, вырывать им бороды и плевать в лицо.

Дрожа всем телом, задыхаясь, я нелепо замахал руками и крикнул, срываясь на визг:

— Мы будем бороться до последних сил! Это имейте в виду. Мы вызовем бунт во всей тюрьме. Мы не боимся наших угроз! Мы все перевернем здесь вверх дном! Мы объявляем голодовку.

И странно: Мымря растерянно посмотрел на меня и облизнул вывороченные губы сухим языком. Потом поглядел на Прахова и на Дынникова, вздохнул и беспомощно забарахтался в своем непосильном ожирении.

— Господа! Разве это от меня зависит? Я—исполнитель законов. Бесполезно, господа. Законы—ненарушимы. Ах, господа, господа! Что вы затеяли, что затеяли!.. У меня—очень тяжелые обязанности, а вы вносите большие осложнения. У меня—образцовая тюрьма, и никогда не было таких беспорядков. Для вас же хуже будет, господа: навлечете на себя репрессии и преследования.

Волна ревущего и грохочущего бешенства отхлынула из камер в далекую воронку коридора, но отдельные голоса и визги еще вырывались из волчков. Двери трещали и скрежетали жестью. Я слышал усталое и хриплое дыхание толп по всему размаху пустот и чувствовал, что все напряженно ждут очень близкого конца, чтобы снова взорваться сумасшедшим бунтом.

И вдруг Мымря опять рассвирепел. Сизый и багровый от крови, он только хрипел и обильно брызгал густой слюною:

— Я вас в бараний рог согну, паршивая крамола!.. Я сгною вас!.. Раздавлю как тараканов!.. Я вас пороть буду, как сидоровых коз... Взять этих псов и запереть их без права прогулок на неделю!..

Прахов был спокоен и стоял твердо, уверенно, пощипывая бороду и ухмыляясь.

— Не орите, пожалуйста... мы—не быки.

Коридор точно обрушился стенами—щебнем летели кирпичи, штукатурка и глина. Двери грохотали и бухали от ударов ног, кулаков, табуреток. Ветер полыхал по коридору и крутил пыль. Уже ничего не было, кроме звериного рева, визга, хрипа, лязга зубов. Где-то ломались и крякали доски, и в двери оглушительно нажаривали палками. Это было нечеловеческое безумие, которое нельзя было остановить. Этих людей можно было только истребить огнем, чтобы восстановить тишину.

Прахов повернулся и шагнул к открытой камере. Но сразу же споткнулся и остановился, точно этот бушующий вихрь отбросил его назад. В груди у меня было только одно сердце. Оно билось широкими взмахами и разрывалось от крови, и кровь плескалась в горло и голову. И опять, не владея легкими, кувыркаясь в воздухе, я кричал бессмысленно, до надрыва:

— Стой!.. Не ходи, Прахов!.. Не смей уходить!.. Я не пущу тебя!..

А нутром я чувствовал, что кричал я только одно:

— А-ай!.. а-ай!..

Потом я прыгнул в сторону Мымри и, замирая от восторга и свободы, потрясал перед его лицом кулаками, и в моих глазах лицо его бултыхалось, как огромный пузырь.

— Я не войду в камеру... Выбросьте отсюда эту бородатую собаку... Убейте меня, но я не пойду... Мы не позволим этому негодяю выбивать зубы ключами... Мы не допустим, чтобы вооруженные барбосы обращались с нами, как со скотиной... Вы можете переломать мне кости, но вы будете иметь дело не со мной, а со всей тюрьмой... Вы будете плавать в нашей крови, но вы захлебнетесь и погибнете, чорт бы вас побрал, палачей...

Я помню, что вырывался из рук Прахова, помню, что разорвал ему ворот рубахи и путался в своих кандалах. Несколько раз глаза его отразились в моих и обжигали злобой.

— Иди, чорт!.. Взбесился ты, что ли? Пошел вон в камеру!

А меня подбрасывали волны грохочущего прибоя. Выла и потрясалась земля, и всё в страшном вихре крутилось и визжало с неиспытанной стремительностью.

Потом все это провалилось в преисподню, и на меня обрушилась большая толпа. Рычали, кряхтели мне в лицо

и больно ломали руки. Сквозь грохот разрушения я смутно слышал утробное рявканье Мымри:

— Волоки его, мерзавца, в карцер! Волоки, каналью, негодяя!..

Я бился в руках надзирателей и, в последних порывах сил, с отчаянием чувствовал, что в этих нечеловеческих мускулах я—жалок и ничтожен, что им ничего не стоит раздавить меня, как червяка.

В карцере

Я полетел в черную дыру и сразмаху ударился головою о камень. Брызнули искры и раскололись стеклом. И звон стекла заныл мучительной болью под черепом. Лежал я в полусознании, без ощущения времени, и только страдал от бессилия: я не мог разжать челюстей—зубы точно срослись и нудно хрустели в деснах.

И когда боль и огненный звон растаяли в голове, я почувствовал, что дрожу неудержимой, потрясающей судорогой: будто ледяная тина всасывала меня в свое болотное нутро и замораживала медленно и неотвратимо.

Я лежал на полу, в непроницаемой тьме и безмолвии, и эта кромешная тишина нескончаемо пела тоненькой металлической нитью. И холод был тяжелый, удушливый, с запахом отхожего места. Дрожь струилась откуда-то из нутра, из области сердца, и я никак не мог совладать с собою, чтобы натянуть мускулы—сделать их свободными и гибкими.

Я встал, но устойчивости не было в ногах: они дрожали, сгибались в коленях, и кандалы плескались бубенчиками. Пальцы скользнули по ослизлой стене, и я не мог понять—иней ли это пушился на камне или студнем нарастала плесень, замороженная мраком. Два шага—другая стена. Потом—провал: железная дверь; должно быть, такая же, как в камерах. Шаг—и опять стена в два взмаха ногами. Параши нет. Под ногами—мерзлые комки и выпучины—должно быть, человеческие испражнения.

Одиночество в камере—одно, одиночество в карцере—другое. Когда есть свет, который истекает из мерзлого решетчатого окна и туманно пылится по камере, мир вспыхивает в душе образами неугасимых воспоминаний:

события, которые никогда уже не повторятся, ярко и осязаемо трепещут перед глазами, насыщенные жизнью. Одиночество карцера—одиночество мрака и бездны. Невидимые стены, это—тьма, сгущенная в камень.

Я ползал около стен, тыкался руками и плечами в мерзлую слизь, скользил по обледенелому полу, и мне чудилось, что на стенах нарастают новые слои льда, и тьма твердеет, кристаллизуется, замораживает руки и ноги, и они тоже превращаются в куски льда, а неудержимая дрожь тает в них, сливаясь с мраком. И не мозгом, а всем существом я мучительно ждал неизбежности: пройдет еще час, и я окоченею и угасну навсегда. Иногда я со страхом чувствовал, что мрак пустоты и мрак стен вдруг колыхались волнами и невесомо плыли, как мыльный пузырь. И стены и пол вдруг исчезали в своей твердости и беззвучно кружились вокруг меня спокойным воздушным потоком. Я терял опору и, замирая, летел в пропасть. Вероятно, это было только на несколько секунд, потому что я сейчас же ощущал омерзительный холод на лице. Я садился и старчески горбился: весь был непереносно тяжелым и дряблым. Тошнота клубилась около сердца и обливала его густой рвотой, застрявшей в желудке. Неощутимый полет стен и пола все еще вихрился головокружительным незримым смерчем.

Я много раз садился на пол, опираясь спиною о стену, и застывал, потрясаемый еще не остывшим бешенством.

Мерзавцы, они бросили меня в эту мерзкую яму, чтобы убить во мне силу сопротивления. Тупые ослы: они не знают, что я—сильнее их, и меня нельзя победить. Если бы они могли заглянуть под крышку моего черепа и исследовать мою кровь, они пришли бы в смятение. Они хотят взять меня холодной пыткой—превратить меня в замороженный труп. Они знают, что делают: они знают, что безмолвием и холодной тьмой можно убить человека. Они знают, что застывшее время ужаснее вневременья.

Но ведь это—для слабых духом, а я смеюсь над ними. В моей душе играет только музыка. Вот они придут к моей могиле и злорадно будут скалить зубы. Они думают, что я буду ползать по зловонному полу и просить пощады. Этого не будет. Я встречу их на ногах и посмотрю на них с презрением, и они будут бессильны в своей ярости. Мне—хорошо, потому что там, за стенами, светит солнце, и снег искрится звездами. Я вижу

небо в полете и пью его, как вино. Я обнимаю землю, такую родную, неотделимую, беспокойную, горящую пожарными зорями в горизонтах по вечерам и в предутренней мгле.

Я изнемогал от дрожи: она рвала внутренности, а руки и ноги отрывались от тела и были чужие. Я не владел уже ни одной клеточкой моего тела. Из стен тягучей патокой стекала морозная сырость, вливаясь в позвонки, и холодной кровью расползалась по жилам. И эти ледяные струи вливались в сердце, и сердце сжималось и тоже дрожало, перебивая свой ритм. На ногах уже не было кандалов, и когда я делал усилие пошевелить пальцами—не было пальцев. Я вставал, чтобы немного согреться, но падал, спотыкаясь о горбатые потоки мерзлой мочи и комки испражнений. Опять вставал и бился плечами о стены. Прыжок вперед—стена и удар плечом о камни; прыжок назад—стена, удар другим плечом. Я сгибался, скручивался, как еж. Горбуном елозил по карцеру и не мог остановиться. Бился о стены и не ощущал боли от ударов. Но эта боль была повсюду: она волновалась ударами сердца и скрипела внутри—в мозгу, в зубах, в мускулах, в животе...

Поскользнулся и опять упал грудью на пол. Хотел встать и—не мог. Пусть. Все равно. Так—лучше и теплее.

Может быть, это было полусознанье, оцепенение, может быть, я медленно замерзал. Мне было невыносимо больно и приятно, потому что я таял, растворялся, исчезал в себе.

...Тепло и уютно, и койка такая мягкая, как колыбель. Прахов смотрит на меня немного выпуклыми глазами, и они дрожат знающей усмешкой. Он наваливается на меня и сжимает лошадиными мускулами. Я задыхаюсь, и кости мои трещат и сдвигаются в кучу.

— Не смей кричать, чорт! Ты знаешь, что такое—борьба? Кто тебе сказал, что борьба—это бунт ради теплого, безмятежного гнезда? Плюй ему в рожу. Борьба—это не бунт, а тяжелая работа по прокладке дороги в бесконечное будущее. Мы—мятежники против всякого устойчивого благополучия. Мы—вечные мятежники...

А я беспомощно барахтаюсь под ним и кричу, как беспомощный ребенок:

— Ты взгляни, Прахов... Вот он... Это Митря треплется под ногами... Это он топчет всё, как скот...

— Его надо жучить... жучить, сукина сына...

А Митря хохочет где-то рядом слюняво, как кретин, портит воздух холодной застарелой вонью.

Это ломает мне кости старший надзиратель и плюет в лицо омерзительной слизью. И жирный клокочущий хрип Мымри проходит через меня невыносимой ломотой:

— Я вас в бараний рог согну, мерзавцы!.. В карцер его, подлеца!..

...Взрывы пожарного зарева. Топот огромной толпы. Ночь. Выстрелы. Я с винтовкой лежу на камнях, на обломках дерева и стреляю во тьму. Около меня шевелятся и ползают черные тени. Кто-то корчится рядом и мычит одним нутром: мм!.. мм!.. Ко мне подползает кто-то сбоку и тормошит за плечо. Я оглядываюсь и четко различаю зубы, клочкастые усы и глаза в огненной слизи.

— Что ты, очумел, что ли? Беги к чорту!.. Все погибло... Беги!..

Тень прыгнула во тьму, раскаленную заревом, и я срываюсь с места и бегу за нею, слепой, оглохший от страха, и не знаю, куда бегу. А всюду—выстрелы, хриплые крики, звон разбитого стекла и топот толпы. И воздух и земля воют от боли.

Я становлюсь легким и крылатым. Меня подбрасывает плавно волна мертвой зыби, и Немилович улыбается с восторженной влагой в глазах:

— Только—солнце, только—весна... Небо такое родное и близкое... Оно волнуется и брызжет, как море... Ведь только в себе несем мы весь мир... Только радость ощущений есть подлинная радость существования...

Так тепло и легко! Земля в фиолетовых волнах предгорий. И небо—в вечернем ущербе. По усталым полям льется хрустальным звоном музыка. Плещутся кандалы на изнуренных ногах. Толпа серых бушлатов колышется по комкастой пепельной дороге, в бесчисленных колеях. Дрлынь, дрлынь... Идет—идет длинной, серой, безликой грядой... далеко, по бесконечному столбовому пути. И поют стонущие голоса, разрываются, вздыхают в похоронной скорби:

Россия, Россия,
Россия моя...

А в стену царапаются пальцы, и стена кричит, и в стене—обнаженные десны:

— О-о... я не могу... товарищи... спасите меня...

И опять—потухающее небо, покрытое бурой окалиной, и поля—в смятых, спутанных жнивьях. Музыка... она тает, рождается, опять тает: дрлынь, дрлынь...

Голодные дни

Очнулся я в камере. Около меня, на койке, сидел Прахов с усмешкой смущенного участия. Золото его волос было необычно ярко, необычно прозрачно. Окно, зеленое и тусклое от хлопьев инея, отчеканивалось перед глазами черными переплетами железной решетки. Стена, где было раньше мое изголовье,—темна и далека, как в тумане. Митря был тоже далеко—его голос вздыхал слабо, глухо, будто из подполья: слов нельзя было разобрать—они были меньше его голоса и растягивались в ниточку.

Прахов подмигивал мне ласково и дружески-интимно.

— Ну, как, брат? Тонка же у тебя кишка: не выдержал в карцере и суток. Еще бы немного—совсем бы закоченел. Все-таки немножко прихватило; обморозил пальцы и уши. Слышишь, какая благодать? Тишь, строгость... Умереть успеем, а в болезни человек бывает сильнее в подходящий момент, чем в добром здравии...

Он рассуждал с удовольствием, со смаком. Лицо его было необычно молодо, празднично. Глаза—с хмельцой, сухие, с искоркой. И в движениях—нервная напряженность, озабоченность, тревога, точно он хотел сказать мне на ухо какое-то важное слово, но не решался.

— Дело идет дружно и замечательно. Из-за тебя бузовали почти всю ночь и это утро. Ввели солдат. Тюрьма—на военном положении. Имей в виду, что могут провалить... С анархистами приходится все время лимонить. А тут—видишь? Уж мужичье брюхо захрюкало. Таким надо беспощадно загибать салазки.

Глаза его вдруг осовели и стали злыми и маленькими.

— Бить буду! Сдеру штаны и кляпом забью в глотку!..

Ревущий кашель рвал мне грудь, и я задыхался. Во рту—сухо, и все тело—сухое, обсыпанное горячим песком.

— Прахов, дай мне, голубчик, воды.

Он взял со стола кружку, и у него дрогнули брови от ехидной усмешки.

— А может быть, хочешь покушать?

Оглохший от обиды, я сел на койке.

— Не смей издеваться надо мной, Прахов! И, пожалуйста, не строй дурака. Ты знаешь, что за это можно бить по физиономии.

Он засмеялся весело, по-ребячьи.

— Ну-ну, не егози. Чем бить будешь—пальцы-то не согнешь: нет их. И кулака не выйдет. Молчи, набирайся сил—на водичке и святые с чертями дрались.

Я поднес кружку ко рту, и она задребезжала у меня на зубах. Вода показалась мне вонючей и густой, как масло.

Он тихо и раздумчиво говорил через угрюмую гримасу:

— Надо быть начеку и глядеть в оба. Теперь кровь стала провокаторская, и воздух загажен предательством. Нужно ко всему быть готовым. Когда человек получает хорошую затрещину, он прячется за чужую спину и подло тычет в рожу соседа: это—он! Мерзота! Признайся, какой бес прыгал в тебе. А в этой истории с Дынниковым? Ну-ну, ничего,—я и так знаю. Что поделаешь—такое время... зыбкое, чорт бы его подрал! А о Дынникове я тебе расскажу как-нибудь. Это анекдот самый простой. Что такое—Дынников? Кувыркается он над обрывом, зацепился штанами за сучок—и никакой спорыньи. Так, одна бестолочь, а вот—душу мутит.

Прахов был полнокровный, широкий костью, крепко посаженный на ноги, и череп у него—большой, в шишках, топорной работы, основательный и надежный. Мне было хорошо от его близости, и мое недоверие к нему тяготило меня: оно было нелепо, глупо, омерзительно.

— Прахов, ты прости меня от души. Все, что было между нами, это—дичь и дурман.

Он отодвинулся и посмотрел на меня сбоку, по-птичьи.

— Да ты что? Чудак ты. Обижаться я не привык, а вернее—отвык. Это—плевое дело. Надо одно: или бить или в обнимку итти. Другое для нас не писано.

И он погладил меня по одеялке.

...Это глубокое, нутряное безмолвие полно зловещего смысла и суровой торжественности. Оно—в неуловимом полете и поет очень далекой капелью. Это чувствуют надзиратели, которых мы не видим, которые уже не гремят ключами. Чтобы не пугать тишины и не тревожить успокоенных стен, они надели валенки и ходят неслышно, как тени. Но я чувствую, как живут камеры. Я вижу сквозь стены всех этих людей, которые связаны со мною общей судьбой. Стрекочут стены и движутся. Лица—множество

отечных бледных лиц—смотрят на меня пристально, и в этих лицах я вижу себя. Они колышутся передо мною, дышат, наваливаются на меня, тускнеют и опять появляются, четко и выпукло. И стрекот, шорохи, кандальный всхлип... Потом—опять тишина погреба. А потом—опять стрекот, спутанный в россыпи, беспокойный в биении сердца.

В груди тлеет маленький уголек. Он не обжигает, а тихо ноет, и этот сосущий ожог обливается волнами крови. А в голове—ясно и свежо, и во всем теле—легкость и покой. Образы реют, как облака в лазури. Это—отдельные миги, обрывки событий, клочки картин, не люди, а их лица, улыбки, глаза и жесты. Волчки и глаза.

А потом—забытье.

...Зеленая полянка в лесу. Она—в солнце и искрится золотом. Ромашки горят звездным засевом, и лиловая кашка клевера вкусно кудрявится в опаловых злаках, а метелки злаков колышутся огоньками свечей. И серебром трепещут в небесной синеве, живые в полете, мотыльковые листья осин. А вверху—небо в весеннем опылении и облака—плавающие сугробы.

...Это—Ольга в глянце волос на висках. Глаза у ней отодвинуты к скулам, и от этого они кажутся огромными. Две морщинки: одна—ямочкой в середине переносья, другая—стрелой у левой брови. Почему она, Ольга, смотрит на меня так загадочно и отчужденно?

... Опять жирный студенистый шар. Он мучительно ненужен и неустраним. Он растет, медленно наматывает мои внутренности и увлекает меня неудержимым ослизлым вращением. Потом останавливается и смотрит на меня апоплексическим лицом Мымри.

— Господа, моя тюрьма—самая образцовая в мире... Я вас в бараний рог согну, мерзавцы!.. В карцер его, подлеца!..

Прахов обнимает меня железными руками и бросает на койку. Я открываю глаза и встречаю его взгляд, насмешливый и пристальный.

— Ты опять бредишь, друг? Это не годится. При голодовке нельзя много лежать, а то можно скапуститься. Ты не сердись, ежели я буду тревожить тебя. При твоей слабости дело может получить худой оборот.

Однажды вечером призрачный телеграфный стук запрыгал по стене. Капелью струились в мозг отдельные частицы слов и оживали нервным трепетаньем. Это—

смертники. Прахов чутко прислушался, сел на свою койку и приложился ухом к стене.

— Мы не пьем воды.

— Нас должны скоро повесить.

— Едва ли успеем умереть раньше.

— Думаем вскрыть жилы.

Прахов смотрел на меня изумленно и растерянно.

— Ты слышишь? Что им ответить?

И, не ожидая ответа, схватил кружку со стола и стал выстукивать:

— Не давайтесь живыми.

— Все средства хороши.

— Мужайтесь.

И—опять тишина.

Вечерняя поверка шла обычным порядком. Открылась дверь, и с порога черные тени надзирателей и Дынникова молча посмотрели на нас своими лохматыми шапками. В последний момент Дынников шевельнул спутанными усами в затаенной намекающей усмешке и сказал брезгливо и нервно:

— Ну-ка, идите, староста Прахов. Прокурор вызывает в контору. Проводи, надзиратель. Дверь камеры оставить открытой.

Прахов накинул бушлат, улыбнулся мне прищуркой и вышел в коридор.

Как воры, почти беззвучно, надзиратели отпирали замки, украдкой двигали засовами, плавно распахивали двери и замирали в молчании. Потом опять с боязливой осторожностью запирали двери и шли дальше, как по сухому песку. Там, в ночной глубине коридора, шаги совсем таяли, растворяясь в пустоте, и только далекое поющее эхо тихо шелестело осенним дождем.

Дверь призывно распахнута в коридор, и камера вытекает стенами в необитаемую пустоту. Неудержимо хочется выйти и вздохнуть полной грудью. Нет, что-то другое. Надо что-то сделать неотложное, большое,—сделать сейчас, немедленно, иначе будет поздно...

Борясь с невыносимой болью в ногах и руках, я раскорякой, на пятках, заковылял из камеры. Во внутренностях была пустота и горячие угольки. Не голод, а нудная боль: будто все, от горла до живота, рассасывается и сохнет. Плавно, со звоном и подземным гулом, огромной махиной кружатся стены, пол и дыра в коридор,—

кружатся около неуловимого центра и не могут сделать полного круга.

Дыры в стенах—и вправо, и влево. Там—только шорох и глухие голоса. Но я чувствовал дыхание этих дверей и призывную возню за волчками. Если бы успеть! И не знал, зачем я вышел и что мне нужно сделать в коридоре. Я стоял, прислонившись к косяку, вспоминал и мучился. Вдали звякали замки и вздыхали двери, и черные тени толкались друг о друга.

Да, вспомнил. Нужно подойти к двери смертников и посмотреть в волчок. Только посмотреть, и больше ничего. Дверь—рядом, в трех шагах. Для того, чтобы дойти до нее, мне нужно было побороть мои кандалы: они давили ноги до стона (нижняя часть голени наливалась опухолью). Сдерживая крик, я с трудом переставлял ноги и со страхом чувствовал, что я не успею пройти это маленькое расстояние: или упаду, или на меня обрушатся надзиратели. Я задыхался от волнения, хватался за стену, но руки падали вниз: они не выдерживали тяжести тела. Пальцы, обмотанные тряпками, раздирались огненной болью от прикосновения к камню. Еще один миг—и я спрячусь в квадратной впадине.

Позади, очень далеко, обрушилась какая-то тяжесть и загремела цепями. Может быть, это брякали мои кандалы, а может быть, звенел ключами бегущий ко мне надзиратель.

Я стукнулся плечом о дверь и схватился за волчок. Стены камеры—только на взмах обеих рук. В копотном пузырьке ночника—сердечко пламени. Мутный огнистый туман. У стены, и ближе и дальше, чернеют глазными провалами черепа. Я не видел человеческих фигур в складках одеял. Койки были плоски, без очертаний, а на серых подушках—только черепа.

Я звал их, а у меня не было голоса: я кричал беззвучными спазмами в горле и уже ничего не слышал, кроме этого крика внутри.

— Товарищи!.. Слышите?.. Товарищи!.. Вы живы, товарищи?..

И сразу, точно по команде, черепа поднялись вместе с одеялками и в ужасе смотрели на меня пустыми глазницами. Они так и застыли в этом положении, как мертвецы. Один из черепов внезапно подпрыгнул над одеялкой. Маленький, худенький человечек сполз с койки, потом упал на колени, вцепился в одеялку, не удержался

и кувырнулся на пол. Заползал между стеною и койкой и задохнулся от крика:

— О-ой!.. о-ой!.. Я не могу... о-ой!..

Вздрагивающая рука цепко держала меня за ворот блузы и всею тяжестью лежала на спине. В ухо и шею со свистом дышала лошадиная голова.

— Опять в карцер захотел, сволочь поганая?.. Я тебе, дармоед, всю рожу изувечу...

И со страшной силой бросил меня куда-то в глубину коридора. Я полетел в пропасть и оглох.

Потом на койке я лежал беспомощный, несчастный, и плакал неудержимо, навзрыд:

— Дорогие товарищи!.. Дорогие товарищи!..

Сквозь слезы, заливающие глаза, я видел Дынникова. У него вздрагивали усы, маленькие глаза смеялись в пьяной горячке, и голова дергалась в сторону, точно он подавал мне какие-то условные знаки.

— Не ревите. Что вы нюни разводите без толку? Бойцы вспоминали минувшие дни... Эх, вы... бунтари и герои...

Потом забормотал невнятно, про себя, как в бреду:

— Чорт его знает... Никак и ни в какую... Требуха... Понимаешь, она уже убита... Чорт его знает... понимаешь... а он и в ус не дует... Хлык-хлык...

Сразу повернулся по-военному и подошел к койке Митри.

— Ну, каково, агрария? Брюхо—не барабан: пустоты не любит. Так, что ли?

Митря, весь измятый, вихрастый, с потухшими глазами, сел, и у него затряслась нижняя губа.

Дынников засмеялся и шлепнул его по спине.

— Ну, что? Хлебца хочется? Заяви—тебя переведут к уголовным. А там тебе расколют черепок.

Митря в страхе вытаращил глаза, порывался защититься от слов Дынникова и затравленно хватался руками за койку.

В дверях камеры появилась черная фигура старшего надзирателя, и издали, над конскими волосами бороды, хищными искорками вспыхивали его глаза.

Лицо Дынникова стало замкнутым и мертвым.

Прахов вошел бодрый, умытый морозом, и, на ходу, броском швырнул на свою койку бушлат. Крякнул, шлепнул ладонями, засмеялся вприщурку и опять крякнул.

— Ну-с, значит, укрепляем позиции для длительной

осады. Милое дело! Будем, как говорится, питаться собственным мясом.

Дынников метнул на него вздрагивающей улыбкой и вышел из камеры. Дверь плавно замкнулась и грохнула замком.

Когда устоялась тишина, Прахов подошел к волчку.

— Товарищи!..

И его крик завыл по коридору, переплетаясь с собственным эхом. Заплескались отраженным переливом кандалы и глухие, мутные голоса. И опять не было обособленных стен: они дышали, как живые, и смотрели на меня множеством бледных лиц.

— Товарищи! Сейчас я был на свидании с прокурором. Он мне и так и эдак пускал пыль в глаза. Однако я твердо стоял на ногах и старался не моргать. Я заявил ему, что наш боевой дух крепок, и мы не уступим ни на шаг. Если бы даже нам пришлось голодать сорок дней и сорок ночей, если бы мы даже околели от истощения,—все-таки и мертвые мы упирались бы всеми четырьмя копытами.

И впервые за эти первые дни настороженной тишины камеры вырвались в коридор гулом и криками радости:

— Браво, Прахов!.. Молодец!.. Никаких компромиссов!.. Берем на шарап, Прахов!.. Загибать салазки боевому старосте!.. Они капитулируют, сволочи... Они сами придут к нам, мерзавцы...

Замятин завыл песню в волчок:

Гремит барабан, и не бойся...

Но сразу же оборвался и провалился в глубину.

— Заткни глотку этому ослу!.. Что здесь—балаган, что ли?..

А из далекого колодца голос Замятина кадычил, захлебываясь от щекотки: га-га-га!..

В эти дни я переживал необычайную легкость и полную отрешенность от потребности в пище. Каждый образ в мозгу, каждый миг в моем зрительном восприятии, каждая вещь—окно в решетке, грязное пятно на стене, звон кандалов, шорох шагов в коридоре, голова Прахова, поднятая рука—все приобретало непривычно глубокий смысл, который нельзя оформить словами. События прошлого становились живыми и осязаемыми: они звучали, воскресая в мигах настоящего, а настоящее—это я, лежащий на койке, короткий разговор с Прахо-

вым, поверка, далекие голоса товарищей в камерах,— все это пролетало мгновенно и таяло призраками давно минувшего, оставляя странный перегар во рту.

Зеленые хлопья инея на стеклах. Это—невиданные картины новой, открытой мною, планеты: горы, долины, деревья необычайных форм, сказочные цветы... Нет стен, нет цепей и замков,—безграничная свобода и полет в лунном огне...

До бредовой пытки колыхался перед глазами ноздристый ломоть ржаного хлеба, медово-влажный, телесно-теплый, и удушливо солоделый запах наплывал на меня, как патока. И кислая вонь параши мешалась с вонью квашеной капусты, разваренной в баланде. Я изнемогал от отвращения и боролся со спазмами в горле, чтобы предотвратить застрявшую рвоту.

Приводил меня к сознанию обычно голос Прахова:

— Ты опять бредишь, приятель. Ты бы посидел, друг, и выпил воды.

Я смеялся. Прахов тоже вздрагивал от смеха.

— Ты—что?

— А ты—что?

— Я—ничего... так... хорошо...

И опять смеялись от беспричинной нежности друг к другу.

Однажды я не удержался и стал ласково гладить его руку.

— Прахов, дорогой... Чорт тебя знает, почему я люблю тебя... даже выразить не могу...

Он встал с койки и улыбнулся, пьяно, изнутри.

— Это потому, что у нас были полные желудки. Должно быть, этакая есть отрава в пище—превращать человека в скота. Тогда желудок тяжелее головы.

— Ну, скажи же, что у тебя с Дынниковым... Ты и Дынников... Какая-то нелепость... И эта женщина... Я ничего не понимаю...

Он хитро уколол меня одним глазом.

— Балдафон ты!.. Ведь ты чорт знает что обо мне думал... И сейчас не веришь... Ну, да ведь я не сержусь, друг. Такое теперь проклятое время. Были дни, когда я был как помешанный: кто я—провокатор или революционер? А все из-за этого прохвоста. У тебя этого не было?

— Нет, у меня было так: я всех считал провокаторами, кроме себя и Ольги.

— Это кто такая—Ольга?

— Она же—здесь. Если бы ты знал ее, Прахов! Изумительная партийка. Гениальный конспиратор. Пережила провалы, разгром организации. И все-таки—прежняя: такая же озабоченность и выдержанность.

— Женщины тоже голодают и держатся крепко. Молодцы!

— Это—она, Прахов. Это благодаря ей.

Он угрюмо и пытливо взглянул на меня и молча прошелся к двери и обратно.

— Я видел ее, эту твою Ольгу. В конторе. Ольга Гнедич, так?

— Да, именно: Ольга Гнедич.

Он молчал и улыбался в усы, и эта улыбка заныла в груди обидой и тревогой.

— Вот что, друг. Я—человек простой и прямой. Врать тебе не хочу. Не понравилась мне твоя Ольга.

— Почему?

От слов Прахова было больно, а то, что он мог сказать сейчас,—это был занесенный удар.

— По-моему, она никого не любит. А ежели ты ее любишь, так она не любит и тебя.

— Ну, бей же скорее, чорт возьми!

Он растопырил пальцы и прикрыл ими лицо.

— У ней, брат, глаза не такие... пустые глаза, и лицо пустое.

Хохот скручивал веревкой и горло, и грудь, и живот до обжигающей боли во внутренностях. Я ждал удара, а вместо удара—простая щекотка.

Прахов застыл в изумлении и не знал, что делать: сердиться или тоже смеяться.

— Да ты—что? За дурака, что ли, меня считаешь? По-твоему, я не могу судить о бабе? Чорта лысого!

Он вдруг затих, и глаза у него стали сухие, как у лихорадочного.

— Я люблю бабу. Знаю, какая дорогая цена бабе в жизни. Без бабы, может быть, и революции были бы иными. Революция, брат, не только кровь, но и плодородие.

— Ну-ну, валяй! Только не смеши больше. Без предисловий.

Он подошел к двери и уткнулся в волчок.

— Товарищи, держись веселей и крепче завинчивай

гайки! При пустом брюхе и на ногах стоять легче. Так, что ли?

И опять в глубине заплескались волны. Переклик, пересмех, перезвон.

Рядом, почти около нашего волчка, скалился голос Замятина:

— Эй, вы... черти подпольные!.. Зашкваривай песню...

И завыл:

На земле-э весь род людской...

Его заглушили истошные голоса:

— Да забейте вы глотку этому чорту!..

— Раком его, подлеца, и—замазать втулку...

А Замятин выл и ржал жеребенком.

Прахов опять подошел ко мне, усмехаясь обидной прищуркой.

— Так вот... Я говорю прямо. Можешь злиться или плевать мне в рожу—это делу не поможет. Ты ее, свою Ольгу, любишь. Это—дело не мое: любовь—дело капризное и несуразное. Но я ни одному слову ее не поверил бы и на версту не подпустил к партийной работе.

— Перестань, Прахов. Я не хочу, чтобы ты говорил об Ольге в таком оскорбительном тоне. Я ее люблю и не позволю, чтоб коснулась ее эта мерзость...

— Ага! Ну, вот видишь? Как же ты можешь верить мне, если паршивая судьба связала меня с Дынниковым? Я же вижу тебя насквозь.

Я не смотрел на него: боялся, что глаза мои будут лгать, и эту ложь он увидит.

— Мне только одно странно, Прахов: при чем тут ты и Дынников? Ведь, согласись, тут—загадка, которую трудно разрешить.

Он беспомощно отмахнулся и крутнул головой.

— Как ты не понимаешь простых вещей?

Затеребил бороду, откусывая кончики волос, и заволновался.

— При чем тут я, голова садовая? Меня прикрутило тут, как грязь к колесу, и по мне переехало. Все дело—только в бабе. Это—клей для ловли мух. В этом все ее несчастье. В интеллигенточках, хоть и революционерках, есть такая жилочка—этакое горение—огонек, который прожигает душу. Все в них дрожит, извивается и присасывается, как пьявка. И вера в них доходит до кликушества. Глаза—великомученицы, а улыбка—колдуньи.

— Ну, не ври, Прахов, не все же такие. Ты говоришь о каких-то уродах.

— Ничего не уроды. Сам на своей шкуре испытал. Наташа была не хуже других: рабочие в кружке на руках ее носили. А я уж тогда сам считал себя политически зрелым. И вот привязался, хоть тресни. Присосалась она и прямо в кровь мою вошла. Не редкость в нашей жизни. Все они такие: питаются они и живут чужой силой. Прицепятся к здоровому парню, начинают перерождаться и на все смотреть его глазами. А оторвутся—погибают, раскалываются, как рюмочки. Есть в них дурманная отрава, и я сам было отравился и потерял голову. А потом, уже в тюрьме, немножко пришел в себя. В тюрьме же почувствовал, что это у ней—навсегда. Особенно эти ее заботы обо мне до полного забвения общего дела. Ее тень я чувствовал даже в камере. Вот до чего. Ну, в это время Дынникова-то и прихватило. Он с самого начала показался мне каким-то малохольным, будто на уме у него было одно—застрелиться. С политическими, надо сказать, держался он запанибрата, а внутри у него была какая-то неразбериха: смесь черносотенства с анархизмом. Повадился ко мне в камеру. Играли с ним в шахматы, а за шахматами я его терзал, и неразбериха эта дошла у него до бессмыслицы. Только и повторял: капут мне, тупик... взорвать все и зарезаться. Вот тут-то он и начал ползать за Наташей. Буквально ползать. На свиданье—он. Она—домой, а за ней—он. Переоденется—и за ней собакой. Приходит она и сама малохольная. Трагедия. За что, говорит, это проклятие? А оттолкнуть, говорит—застрелится или повесится. А потом, чтобы оправдаться,—передо мной или перед совестью,—устроила с его помощью мне побег. Хорошо, очень ловко устроила, а то мне грозила смертная казнь. Я по свету рыщу, а она—там, а около нее—этот пес. Отравился он окончательно и мог сдохнуть по ее приказанию. Он ее мучил, а она—его и себя. Но силы оборвать эту канитель не было. И ты думаешь, помог он мне бежать от любви к революции или ко мне? Держи карман. Он меня готов удавить собственными руками. Было даже так: Наташа скрылась от него в другой конец России—нашел. Даже непостижимо как, а нашел. Пришел к ней, ползает по полу. Ну, она и руки опустила. Все, мол, равно. Да и сама стала качаться: усталость, разочарование и все такое. А теперь вот сюда приехала. Рыскала ме-

сяца три и—нашла. Не успела приехать, и он здесь. Поневоле с ума сойдешь. Записочку мне на-днях через него прислала: устала жить, а в жизни—ничего нет, кроме мучительства и пустоты. Все оборвалось: крах и ренегатство. И этот, мол, испакостил жизнь. Поддержи, говорит. А чем я могу поддержать? Раз человек крахнул—бесполезно поддерживать. Виделся с ней. Совсем мертвец. Чужая. Чертовщина какая-то. Хлопаю себя по башке и—ничего не понимаю. Не то мозги у меня бараньи, не то—здоровая кровь. Чувствует, что отрывается от меня, и—гибнет. А он погибнет вслед за ней. Я же, как-никак, все-таки... больше люблю революцию. Он ползает перед ней, как глиста, а она не может дать ему пинка. Потому что, видишь ли, он украл для нее мою жизнь... ну, пусть для революции—это дня нее не важно... украл мою жизнь из рук палачей. Как это расценить? Для меня это было бы просто, а для нее—это безвыходное положение, запутанный узел... жертва. Раньше она меня понимала, а теперь—никак, ни в чох и ни в сон.

Он опять шлепнул себе по коленке и лег на койку. Говорил он спокойно, неторопливо, почти равнодушно, и непонятно было, счастлив ли он от этой любви, больно ли ему, или уже все у него перегорело и не оставило следа.

— Ты знаешь, Угрюмов: наша голодовка уже волнует весь город.

— Я все-таки не понял, Прахов: любишь ты свою Наташу, или уже все кончено?

Он не ответил, точно не слышал моего вопроса, и закрыл глаза.

Стены едва уловимо трепетали телеграфным пульсом. Этот трепет струился где-то очень далеко, неизвестно где, и жил своей, отдельной от нас, жизнью.

— Прахов, а смертники?

Мы тревожно взглянули друг на друга, а потом—в стену, за которой были они.

Он взял кружку и стукнул несколько раз. Молчанье. Опять—настойчивый вызов. И слабый, очень редкий, сбивчивый отзвук: та-та-та... пока живы... не берет... та-та-та...

Шли дни навстречу тишине, а из тишины текло оцепенение. Прахов уже не садился ко мне на койку, а топтался по камере, заложив руки на спину, и о чем-то думал, упорно и напряженно. Митря лежал без движения,

как тяжело больной. Я бредил в полузабытье и жил в мире призраков, идущих из прошлого. Как-то незаметно мы научились разговаривать взглядами. Я открывал глаза и встречался с глазами Прахова. Он усмехался и кивал головой.

— Ну, как?..

— Ничего... хорошо... А ты?

— Прекрасно.

И опять проваливались в собственный мир. Эти провалы были очень длительными—на целые часы,—но времени мы не ощущали. Вдруг попадаешь в какой-то необъятный омут и плаваешь в его спокойном водовороте, постепенно погружаясь в мерцающую пучину, не достигая дна. И всюду—неугасающие мелодии: и весенний шелест листьев, и поющая капель, и топот человеческих толп за стенами тюрьмы. Я взрывался воющим кашлем—и все исчезало. Этот мой кашель был невыносим Прахову: он готов был свирепо броситься на меня с кулаками, незабываемо оскорбить меня, и его глаза туманились от борьбы с собою. Я тоже стал ненавидеть его до отчаяния. Были мгновения, когда я мог бы убить его с наслаждением за его широкую спину, за то, что он грызет свою молодую бородку, за то, что он силен, как буйвол, и нарочно старается давить всех этой силой.

В одну из таких минут острой молчаливой вражды Прахов прислонился к стене и, сдвинув брови, настойчиво застучал кружкой. Тишина. Опять—настойчивый стук. Тишина.

Я сел на койке и закачался вместе с камерой в неустойчивом колыхании.

В ушах волновался колокольный звон. В глазах его разбухала растерянность и злоба.

— Повесили, мерзавцы... все-таки повесили...

— Я не понимаю, Прахов, откуда у тебя такая прыть к категорическим заключениям? Я почти не сплю по ночам и слышу всякий малейший звук. Они—там. Может быть, слабы, но не умерли. Даю руку на отсечение.

Глаза у него стали маленькие, в щелочку: в них было презрение и ядовитая ухмылка.

— Умный человек должен знать, что лучшие воры в мире, это—тюремщики. Они могут слямзить тебя из-под твоего собственного носа в любое время.

Я задохнулся и стал дрожать от неудержимого желания ударить его.

— Не кичись своей мудростью: это—разновидность глупой заносчивости.

Он дрябло опирался спиною о стену и кривил лицо от мстительного наслаждения.

— Напрасно я за тобой ухаживал. Такого дурака, как ты, совсем не жалко, если бы он и околел.

У меня тряслись руки и губы, и одеялка трепыхалась, всхлипывая кандалами.

— Я прошу тебя не забываться, идиот! Такого мудрого командира можно и по шеям.

Он затрясся от хохота и брезгливо отмахнулся рукой.

Митря встал с койки и, шатаясь, подошел к параше. Забыл, что ему нужно, и опять упал на койку. Глаза его были слепые, устремленные вдаль и в себя. И будто так же внутренно и таинственно улыбался он, как слепой.

— Жгёт, братцы... нутрё жгёт... Умру я... Аль мне чего надо? Мне ничего не надо... Братцы...

И заплакал, покорно, без слез, захлебываясь слюной.

Слова Митри не потревожили Прахова. Тяжело и лениво он сказал ему, скосив белки в его сторону:

— Ну, не вякай, шалава! Живо возьму на кувалду и пробку вставлю. Я знаю, как приручают вашего брата.

А я напрягал все силы, чтобы твердо глядеть в глаза Прахову.

— Ты не смеешь так разговаривать с товарищем: он тебе—не скот, а ты—не погонщик.

Он попрежнему был рыхлый и грузно-ленивый. Щупая меня одним глазом, он тянул, едва связывая слова:

— Ты попрежнему крутишь свою шарманку, приятель. У тебя даже не хватает смелости на откровенное слово. Говори прямо, что накипело на сердце, а нечего канителить.

— Вот именно: тут нечего канителить, когда ты фальшив до корня волос. На тебя нельзя опереться и верить нельзя.

— Вот, вот. Вы очень любите опираться на чужие плечи. Я тебе—не столб и не костыль.

Я не слушал его и кричал, задыхаясь и опустошая душу:

— Кто ты такой? Чорт тебя знает. У тебя и Маркс и Дынников. И баррикады и трусливые жмурки с тюремщиком...

— Ну, кончай, чего барабанишь! Ты хочешь сказать, что я, может быть, провокатор. Так?

— А чорт тебя разберет: может быть, ты и провокатор.

Он сбледнел, и в глазах его вспыхнуло изумление, испуг и волчий огонь. Было мгновение, когда он был в зверином порыве к прыжку. Замирая, я ждал, что вот-вот он бросится на меня и вцепится в горло. Но это плеснуло в нем только одной короткой волной. Он устало усмехнулся и закрыл глаза.

— А ты не допускал мысли, что я за тобой давно следил, как за провокатором? Твои поступки так и изобличают в тебе этого беса.

— Это какие поступки? Ну?

— Да вот... этот излишний пыл... показное благородство... козлиные прыжки на рожон... Так и бьет в нос...

Я оцепенел и долго не мог сказать ни одного слова. Это было внезапно и просто, как выстрел в упор, и я не мог защищаться. Был только отчаянный визг в мозгу, а сердце отрывалось и падало вниз. Если бы у меня были силы, я убил бы его.

— Ты—мерзавец, Прахов. Я впервые вижу, какой ты мерзавец.

А он дремотно ухмылялся.

— Чудак! Мне уж давно известно, что ты—шарлатан.

Между мною и им уже не было простого расстояния: какая-то огромная тень окутала нас. Эта тень была уже не устранима нашими силами: она была выше и глубже нашего сознания, и наша воля исчезала в ней, как ничтожная пылинка в ночной беззвездной мгле.

Это было на четвертый день нашей голодовки.

А ночью я внезапно очнулся от страшного удара. По ночам у меня не было сна, а только плавное оцепенение, когда слух чутко воспринимает все шорохи, а глаза через призраки сновидения отражают твердые плоскости стен и волны огнистого полусумрака. И эти шорохи, и неосторожный звон ключей, и одинокий бредовой всхрип, вылетевший из далекого волчка, потрясали грохотом и ревом. Я приходил в сознание—и все исчезло. Сопел Прахов во сне, и Митря скрипел зубами.

И вот вдруг этот удар. Сердце било по легким, и я задыхался. Прислонившись к стене, я сидел на койке и, не мигая, смотрел в волчок. Все ныло в нестерпимой тоске: случилось что-то непоправимое,—может быть, я сейчас умру, а может быть, разразится какая-то неслыханная беда. За волчком, рядом с нашей камерой, мягко ходили

люди и украдкой перешептывались. Смертники. Это пришли за ними.

Я понял это сразу и бесповоротно. Почти ползком я добрался до волчка и уткнулся в отверстие. В этот же миг около моего лица засвистело предсмертное дыхание. Пальцы вцепились мне в губы, сорвались и до белизны расплющились о железную обшивку волчка. Разрывая свист порванных легких, хрипло, безголосо закричал человек. Я прижался к двери, убитый ужасом, и смотрел на эти посиневшие пальцы, и мне чудилось, что не человек это кричал за волчком, а эти расплющенные пальцы.

— Х-ха... х-ха!.. Да что это?.. да что это?.. товарищи!.. Хо-о... хой!.. Я не могу... я не могу... Хо-ой!..

Я заметался около волчка, бился головою о дверь, о простенки и тоже хрипел и задыхался в последней борьбе.

Спотыкаясь о собственные босые ноги, крался ко мне между коек Прахов. Лицо его прыгало, и зубы скалились. Брызгая слюной, он в ярости шипел мне в глаза:

— Не ори... не ори, сволочь!.. Тебе говорят, не ори!..

В коридоре было смятение и борьба. В разных местах кричали заключенные:

— Что вы делаете, мерзавцы!.. Людей душат в камерах, товарищи... Вставай!.. Что это такое за злодеяние!..

Кто-то визжал в истерике, и в пустоте коридора рвался плач и сумасшедшие крики.

А у волчка человек все кричал, разрывая свистящие выдохи:

— Х-ха... х-ха!.. Я не могу... боже мой!.. Я не могу... Х-хой!..

Прахов смотрел на эти пальцы, которые, слабея, скользили по железу, и рыхло отодвигался от них по простенку, онемевший и бледный.

В коридоре кричали и плакали сумасшедшие.

Пальцы оборвались и выскользнули в дырку. Человек упал на пол. Двое надзирателей, хрипя и лязгая зубами, тащили его за ноги, а он, серый, растерзанный, хватался растопыренными пальцами за бетон и скользил назад. Голова билась о пол, таращилась кверху и опять падала. Рубашка сбилась к лопаткам, и штаны сползали с бедер, оголяя спину с желобком посредине.

Двое надзирателей держали под руки молодого парня. Он покорно стоял, переминаясь с ноги на ногу, и быком смотрел на товарища, с которым боролись другие надзи-

ратели. Потом он криво улыбнулся покоробленным от бледности лицом и начал старательно напяливать на голову арестантскую шапочку.

— Ну, будет... будет, Бабакин... Маленький ты, что ли? Чего дурака валяешь?..

Надзиратели ловко подхватили первого и поставили на ноги. Он сразу успокоился. Подтянул штаны и стал одергивать рубаху.

Потом все исчезло, и в волчке опять зияла сумеречная пустота.

А коридор все еще зыбился и плакал.

Человек с золотыми крылышками

...За эти одиннадцать дней голодовки наша боевая тишина нарушена была один раз. В этот день в камерах зазвенел смех, а Замятин опять взбунтовал всех своими песнями.

В полдень широким вздохом распахнулась дверь, и в коридор, напором, ввалилось целое стадо. Затопотали перепутанные шаги в сдержанном говоре голосов, раскатисто зазвякали запоры, зашипели двери камер. Топот и голоса проваливались в нутро камней, потом опять выползали, загромождая пустоты новизной и беспокойством улицы. Впереди по-хозяйски заливался молодой тенор. Он был капризен, женственно певуч и весел до смешливости. Не видя этого человека, я уже знал, что у него—румяное, чисто выбритое лицо с подстриженными усиками, на носу—пенснэ, волосы подстрижены ершиком, а погоны на черной шинели—как золотые крылышки.

— Это ж смешно, господа... не правда ли?.. Раз слабы—надо искусственное питание. Приведите двух молодцов из уголовных и—дело в шляпе. В чем дело?

Как и всегда, наша дверь распахнулась во весь размах квадратной дыры. С неудержимой улыбкой упруго впорхнул на своих золотых крылышках пухлый румяный человечек в пенснэ. Ершика не было, а молодая лысина искрилась шелковым зачесом волос над ушами, и эти шелковые мочки по бокам лысины были тоже похожи на крылышки. Он причесался, вероятно, уже в коридоре.

— Ну, что ж, господа... здрасте!..

Уныло и сердито вошел доктор. У него была длинная

черная щетина на голове, а усы и борода стекали клочьями на серую шинель. Он наклонился над Митрей и взял его за руку.

— Умру я, ваш... Что ж это, ваш... Братцы...

Прахов посмотрел на него быком и забасил:

— А ну-ка, молчать... овца!..

И Митря сразу застыл, как труп.

— Говорят, что у нас—жестокая политика... не правда ли?.. Это ж—смешно... А у самих—диктатура друг над другом... Нам—нельзя, а им—можно... Каково?

И румяный человечек весело засмеялся, оглядывая нас и всю толпу тюремной челяди во главе с Мымрей. А он, Мымря, был слепой и глухой, как бурхан. Дынников стоял впереди Мымри с хмельцой в глазах. Усы необычно спутались на губах. Он дрыгал бровями и часто вздрагивал в нервной судороге.

— Ну, так что ж, господа? В чем дело? Долго ли еще будет эта канитель? Ведь кушать же хочется, не правда ли?

И опять засмеялся с веселой икотой.

Доктор с тем же сердитым раздражением подошел ко мне и протянул руку. От моего окрика он испуганно остановился.

— Доктор, не ломайте комедии. Отойдите прочь.

Он послушно отвернулся и шагнул к Прахову.

— А ну-ка, пошел вон, коновал! Твое дело—щупать руки повешенных. Отчаливай!

А румяный человек не мог успокоиться от смеющейся радости.

— Ну, так что ж, господа? Дело получает серьезный оборот, не правда ли? Ведь ничего ж не добьетесь... Смешно!.. Применим к вам искусственное питание. Не так ли, доктор?

Прахов с черной мутью в глазах подошел к нему вплотную.

— Что такое? Вы хотите, чтоб было кровопускание? Вы хотите спровоцировать бойню? Посмотрим, как это вам удастся.

Золотые крылышки затрепетали, и пенснэ блеснуло изумлением.

Мымря вывалился бурдюком и запыхтел в борьбе с своей разбухшей тяжестью.

— Господа, надо все-таки, так сказать... Вы же—интеллигентные люди... Господин товарищ прокурора сам пожелал...

У Прахова взметнулись лопатки.

— Я с вами не разговариваю! Следите за своей квашней... только и всего...

Товарищ прокурора весь вспыхнул от восторга.

— Это ж—великолепно! Говорить на русском языке и не понимать друг друга. Это ж—смешно!..

Я сел на койке в злобном порыве.

— Да, мы не понимаем друг друга. Наши дела для вас понятнее слов. Убирайтесь к чорту! Вон!

Я свалился от ревущего кашля, но продолжал еще злобно взмахивать кулаком. Доктор опять шагнул ко мне, но я остановил его глазами.

— Но ведь это не может кончиться добром, не правда ли? Это ж—смешно. Вы—староста, да? Вы ж должны понять, что мы будем вынуждены...

Прахов прислонился к столу и, опираясь руками о его край, смотрел на товарища прокурора с невозмутимой уверенностью.

— Попробуйте. Вы можете нас только зверски перебить. Другого ничего не добьетесь. Но имейте в виду, что на другой же день всё будет известно во всех уголках. Ведь девятьсот пятый еще не остыл.

— О, нет, господа. Это—не страшно. Мы уже хорошо подковались, и все ваши силы и намерения нам прекрасно известны. Это ж—смешно!

И товарищ прокурора оборвал себя юношеским смехом.

— Это—смешно! Одно дело пугать голодовкой, другое дело—кончить голодовку смертью. Мы не будем препятствовать вашему самоуничтожению. Пожалуйста! Но я думаю, что умирать-то вовсе не хочется даже и в этих неприглядных стенах. Не правда ли, а?

Глаза Прахова были неподвижны и тверды, как стекло.

— Мы идем до конца без всякого колебания. Нам нечего терять.

— Ого, значит,—ва-банк? Это—очень азартно.

Товарищ прокурора стал вдруг серьезен и важен.

— Доктор, этот—как? Слаб?

Он ткнул перчаткой в сторону Митри.

— Да, переносит довольно трудно.

— Тогда—в больницу. Распорядитесь, начальник.

Мымря горой поднял живот и, приложив руку к шапке, издал звук, похожий на отрыжку.

Прахов попрежнему был неподвижен, и в голосе его мычало неподатливое властное спокойствие.

— Нет. Он не будет в больнице.

Товарищ прокурора растерянно махнул рукой и смял зачес над правым ухом. Сразу опомнился и бережно поправил его с девичьей грацией.

— Я не понимаю, господа. Надо же все это кончить. Это—смешно. В чем дело?

— Кончайте. Наше дело—ясное.

— Это ж смешно... это ж смешно...

И с улыбкой досады и тревоги упруго пошел к двери, в гущу своей тюремной свиты.

А Мымря, измятый, мясистый, ворочал белками, и щеки его студенисто дрожали.

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, что вы делаете!.. Никогда этого не было в нашей тюрьме. Какие неприятности, господа... какие неприятности!.. Ведь вы хотите не тюрьмы, а—общежития. Невыполнимые претензии, господа...

— Мы хотим и в тюрьме человеческих условий.

Он был невыносим мне, и я кричал ему в лицо с яростным наслаждением:

— Вы из тюрьмы хотите сделать зверинец и застенок! Это вам не удастся. Никогда не удастся. Пусть мы издохнем, но мы добьемся своего! Если не мы, то другие воспользуются нашей победой. Вы душите людей на наших глазах. Мы этого не позволим. Никогда! Пусть мы—ваши пленники, но мы—не рабы и не скоты. Живыми мы не сдадимся. За нами—тысячи, имейте в виду. Вы очень ошибаетесь, что вы—победители. Рано защебетали с своей сворой, стервятники.

— Ах, господа, господа! Какие неприятности, какие неприятности!.. Всякие слухи... волнуется весь город... Разве это допустимо?.. Прекратите это, господа... Ведь я—тоже человек!.. У меня—семья. У всякого—свои немощи...

Это была хорошая весть. Там, за стенами тюрьмы, наши неизвестные товарищи тревожат обывателя. Там жизнь не умерла, и силы, загнанные в подполье, взрываются и будоражат страхом испуганный покой. Нет в мире стен, которые бы раздавили в своих трущобах огненное трепетание борьбы. Наши стены дрожат, и от них летят незримые волны тревожных призывов.

Я махал над собою перевязанной рукой и смеялся в восторге.

— Вот, вот! Очень хорошо! Превосходно! Об этом за-

говорит вся Россия, а потом и—Европа. Ваши стены не крепче решета. Браво!

— Ах, господа, господа!.. Что вы делаете, господа!..

И он ушел, убитый, сырой, неустойчивый в ногах.

Между мною и Праховым лежала непроницаемая тень.

Победа

Мы были в тюрьме, но наслаждались свободой. Не умолкая, гремели цепи, и воздух рассыпался осколками стекла, а ноги ненасытно шагали по длинному коридору. В крови волновался не звон кандалов, а музыка праздничной радости. И я понял впервые, что свобода—не в широких горизонтах, не в том, что открыты тебе все пути и дороги: истинная свобода—в борьбе. Если бы во время голодовки передо мною открыли двери и сказали: «Ты—свободен!»—я с презрением крикнул бы тюремщикам: «Вон!» Потому что я не нашел бы тогда свободы под открытым небом, на шумных городских улицах: там я замуровал бы себя навеки.

Наши камеры были открыты уже на целый день. Мы могли уже иметь бумагу, чернила, газеты, книги. Я раз в неделю мог видеться с Ольгой. Я мог выходить в коридор и бродить по нему из конца в конец. Мог гулять по двору, мог заходить в камеры товарищей и говорить с ними до пресыщения. Только камера смертников была отодвинута к двери, ведущей в другие корпуса,—камера № 1. Она одна попрежнему была надежно закована железом, и к ней нельзя было подходить.

Утром, ровно в семь, как обычно, дверь распахнулась, и в камеру вошел Дынников. Он был пьян: усы—в клочьях и мокры, глаза—влажны, безумно тупы, в кровавом наливе. Мизинчик растерянно и беспомощно улыбался у порога, точно его ударили по шее. Он не знал, как держать себя, и сморкался в ладонь.

Дынников прошел к столику, сорвал шапку с головы и бросил на мою койку. Сел на табуретку верхом (нам дали новую табуретку) и с удивлением осмотрел нас всех, точно не сознавая, куда и к кому он попал. Смывая слюною слова, он забубнил торопливо, возбужденно, с едкой насмешкой:

— Поздравляю с победой, фанатики. Ну? Дешево? По-

думаешь!.. Грош цена вашей победе, потому что нельзя бороться с судьбой. Ни в какую! Самообман. Ерундистика. Жульничество. А вы тут философствуете—наводите тень на плетень. Тупицы! Куриные башки! Куклы!

Прахов смотрел на него в упор, и глаза у него были мутны.

— Что вы здесь разводите баланду? Что за чепуха?

— Хлык... я только говорю о регламентах и правилах. Они же остались ненарушимыми. Все—попрежнему. И вам—дулю под нос. А вы рады—ухмыляетесь. В этой вашей истории я играл роль не хуже твоей, доблестный боец Чу-гу-нов. Ведь ты же—не Прахов... Какой ты чорт, Прахов? Ерунда. Трусливая шкода. Дрожишь за шкуру свою, как собака. Тьфу! Ты думаешь обмануть судьбу? Дудки, Чугунов! Дудки! Ты передо мною извиваешься глистой. Ты—весь в моих руках. Что хочу с тобой, то и делаю. Хлык, хлык... Трагедия!.. Плевал я на ваши трагедии. Трагедия, это—собственная тюрьма. Дураки! Вы даже этого не понимаете. Курослепы!

Прахов был немного растерян и усмехался устало. Голодовка покоробила его лицо. Оно было синее и жухлое, а под глазами были темные провалы.

— Что ты здесь разоряешься, Дынников? Судьба, это—утка. А ты тявкаешь, как дворняжка. Ничуть не страшно. Я ведь, как ты знаешь, не из пугливых.

— Знаю... хлык, хлык... Раз тебе капут, и мне—капут. Шишка. Тебя нужно повесить. Я тебя удавлю собственными руками. Вот этими... на!.. Ты—убийца... самый мерзкий убийца... Тебя нужно колесовать... на!

Прахов молчал и пристально улыбался.

Мизинчик в изумлении и испуге смотрел на Дынникова и, оглядываясь на дверь, смущенно шептал:

— Господин помощник, надо бы сделать поверку. Дежурный ждет. Как бы не вышло неприятностей. Опасно.

Дынников встал, браво вытянулся в пьяной готовности.

— Слушаюсь, верный раб. Я гарантирую спокойствие предержащей власти. Впрочем, ты—бестия... хитрый, мерзавец... Я тебя вижу насквозь... Хлык, хлык...

Он вышел с высоко поднятой головой, и воздух нашей камеры запенился отравой. Прахов с угаром в глазах сидел неподвижно на койке и был чужой и одинокий.

Митря лежал с закрытыми глазами, с пеплом на лице, как мертвец. Губы были черные, сухие, в корках. У меня

кружилась голова, и я сел на его койку, дрожа от слабости. Неиспытанная легкость была во всем теле, точно я попал на другую планету. А кандалы были во много раз тяжелее, чем в прошлые дни, и дни эти таяли в памяти, как далекие годы.

В коридоре толкались и путались в собственных ногах группы товарищей. Шаги их—слабые, утомленные, шаркающие по бетону. И голоса—слабые, но по-ребячьи радостные. Точно не в тюрьме, а в больнице.

Я откинул одеяло и взял руку Митри. Она тоже была покрыта пеплом—не мужичья.

— Митря, вставай, дружок. Сейчас будет кипяток и свежий хлеб. Праздновать будем.

Он открыл глаза, и в них я не увидел ни радости, ни печали: они были тусклы и оторваны от жизни.

— Не трогте... Христа-ради... Не надо... Ничего не надо...

Меня осторожно, почти робко оттолкнул Прахов, и я молча отошел к двери. Он не взглянул на меня, точно меня не заметил. А мне было и обидно и приятно: пусть—все идет своими путями: он—сам по себе, я—сам по себе. Мы—бесконечно чужды друг другу.

Он мягко и нежно взял Митрю подмышки и посадил на койке.

— А ну-ка, друг, вставай. Я, брат, тебя одену, обую, умою и тюрькой заморю червяка. Шевелись-ка, осина-борона.

Митря послушно сел и равнодушно отдался во власть Прахова.

— Мне... все тятя... мерещится... покойник... Мерещится и мерещится... И все—издали... цепом машет... Иди, говорит, молотить, Митря...

— Во-во. Значит, Тит, иди молотить—брюхо болит. Помолотили—будет.

— Покойник ведь... тятя-то... нехорошо... не к добру... А время-то, верно, хорошее... гуменное время... Крещенские морозы... Молотить сейчас—гоже... Зерно само просится...

Я вышел в коридор—и зашатался: и пыльные окна в решетках, и грязные стены, и пол в щербинах и выбоинах—все заколыхалось, стремительно падая вниз, как на палубе корабля.

Я прислонился плечом к стене—и всё вдруг озарилось оранжевым пламенем. Затошнило.

Около меня стоял Мизинчик и трепал по плечу с неумелым участием.

— Ну-ну... ничего... Оклёмаешься... отудобишь... Знамо, лихостит... Ну-ка, сколь ден... кому ни доведись...

И засмеялся, смущенно и виновато.

Я погладил его по плечу со слезной щекоткой в горле: в нем впервые я почувствовал не тюремщика, а просто человека, связанного со мной какой-то неуловимой трепетной нитью.

— Хороший ты мужик, Мизинчик... Спасибо на ласке...

— Ничего, ничего... отудобишь... Свет не клином сошелся... Везде—люди...

Брови его вздрагивали, и глаза увлажнялись собачьей тоской.

— Жратва одолела... жратва... Вот в чем—катавасия... Ежели бы не семейство да не чортова жизнь—разве я здесь торчал бы? Будь оно проклято... За что народ гибнет? За что его заушают? Разве я не чую?.. Разве мне не прискорбно?.. Сам такой же, как все... Чем мне лучше?.. Куда я пойду? Кому я такой нужòн?..

Он махнул рукой и угрюмо отошел от меня. Потом вспомнил о чем-то, возвратился и торопливо, украдкой сказал:

— Этот... помощник... как его... малохольный-то... Запил... Неблагополучный человек... Так и жалит, так и жалит... Шли мы сюда, а он: «Давай,—говорит,—Мизинчик, всю тюрьму взорвем. И сами—в тартарары, в преисподнюю...» А тут еще бабенка ввязалась... Повесилась третьеводни. А в него уж совсем какой-то чорт вселился... Съест себя человек... Жизнь-то что делает с людьми, ай-а-ай!..

Он пошел от меня вразвалку вдоль по коридору. Валенки были у него тяжелые, как пни, длинные, выше колен, и он никак не мог совладать с ними.

Прахов еще не знал о судьбе Наташи. А в Дынникове он ничего не увидел, кроме алкоголя. Теперь мне было ясно нутро этого нелепого человека: в нем сгорала мертвая Наташа. Почему Прахов не хотел свиданий с нею? Что она такое, эта трагическая Наташа? Почему так скупо говорил о ней Прахов? Почему он так загадочно прятал ее от меня?

Коридор пел и смеялся перекликами голосов. Мимо меня сновали бледные лица, волосатые головы,—все были точно больные с выздоравливающими глазами. Все пристально, с улыбкой, с детским любопытством вглядывались друг в друга, волновались, сплетались в обнимке и целовались. Кто-то пытался петь, но обрывался от слабости. Вороша толпу и поднимая руки, как крылья, высокий—выше всех—прошагал размашистым шагом Замятин и, глядя сразу на всех, пел в такт своим шагам:

Гремит барабан, и не бойся —
Пляши, маркитантка, скорей!..
Вот смысл глубочайшей науки,
Вот смысл философии всей...

А ему хлопали в ладоши и кричали:

— Браво, Замятин!.. Загибай ему салазки!.. Да здравствует победа!..

Хромая и скользя по стене от слабости, я пошел к камере Немиловича.

Я слышал его голос, привык к его сияющему глазу в волчке, но я ни разу не видел его лица. Мне он казался худым, высоким и апостольски важным.

Мои обмороженные пальцы на руках и ногах—в струпьях, и уши—в струпьях. Я удивленно смотрел на всех с неудержимой улыбкой, и они тоже оглядывали меня с изумленной радостью. И странно: все они, мои товарищи, были на одно лицо и одного возраста: или мои глаза ослепли от истощения, или голодовка сделала всех одноликими. Колыхались стены и пол и плыли вместе с толпою и вперед и назад.

Я испугался от неожиданности. Меня обнимал мальчик в серой арестантской куртке, в кудрявой шапке волос. Он поцеловал меня три раза, не отрывая губ, и дышал глубоко и восторженно. Губастый рот в оскале зубов сочно искрился мальчишечьей улыбкой. Юноша волновался в нетерпеливой готовности к порыву.

— Вы давно здесь, товарищ? На каторгу? По какому делу? У вас—кандалы. По несовершеннолетию мне—только ссылка, а по уголовному уложению —каторга. Жаль. Ведь у меня—тоже дело. Я ведь по убеждениям—два года как большевик. Ссыльных не закандаливают. А с каким бы удовольствием я погремел по этапам и тюрьмам!..

И сочно сверкал зубами из губастого рта, и все ласково ловил мои руки и робко пожимал их.

— Вы хромаете. Дайте, я поведу вас. Вам—куда? Это у вас от карцера? Я слышал и очень интересовался вами. Досадно, что я тогда не мог принять участия. И я был бы в карцере.

Я взял его под руку и прижал к себе.

— Брякать кандалами—удовольствие небольшое, товарищ. Что может быть нелепее железных цепей на человеческих ногах? И карцер не рекомендую: большая мерзость.

Он загорячился и заговорил торопливо, захлебываясь, и видно было, что он хотел убедить меня и заставить почувствовать, как неизбывна его жажда к подвигу.

— Нет, нет, товарищ! Вы не должны говорить так. Вы не можете этого говорить. Вы—революционер. Когда у меня делали обыск, мать и сестра были сами не свои. Ведь я еще учился. А я держал себя удивительно спокойно. Я радовался: вот и я арестован, вот и я буду в тюрьме. Я с наслаждением пошел бы на виселицу тогда. Вот и сейчас. Я тоже голодал, как и все. Даже не хотел пить воды, да уговорили товарищи. И если бы еще столько же—все равно... никак и нипочем... Я даже ждал, что дойдет до агонии.

Мы подошли к открытой камере Немиловича. Там было пусто, и только в зеленой полутьме на одной из коек ползали складки бурого одеяла.

— Я—сюда. К товарищу. Вы не сказали, как вас зовут.

— Архип. В переводе значит—старший конюх. Нелепое имя.

— Почему—старший конюх?

— По-гречески. Ведь я тоже учил эту премудрость. К чорту Византию: она—только кровь и рабство! Наша проклятая родина—такая же Византия. Можно с вами?

— Пойдемте. Тут—Немилович. Только вы его не очень слушайте: у него немножко ум за разум заходит.

— Ах, как мне нужно много учиться! Ведь революционер должен быть подкован на все четыре ноги. Чтобы разрушить буржуазную цивилизацию, нужно овладеть культурой. В руках пролетариата это—самое сильное оружие, а без культуры он—беспомощен.

Мы вошли в камеру, такую же тесную и плесенную,

как наша. Немилович лежал на койке, плоский, почти неощутимый, будто только одно лицо бледнело на подушке, а тела не было. Я узнал его по глазам. Они были такие же, как в волчке, где они горели сухим внутренним блеском. Щеки были худые, прилипающие к зубам и тоже горели рваными пятнами. А лоб был твердый, белый, череповидный, с огромными глазницами. И совсем лишней была длинная борода, узкая, черная, заботливо разглаженная, должно быть, мягкая, хрустящая шелком. Он обеими руками—желтыми и прозрачными—женственным перебором длинных пальцев чесал ее, разглаживал и играл волосами. И как только я увидел его, такого,— с маленькой головой и большой бородой,—мне сразу стало скучно: он показался ненужным здесь и ненастоящим.

— Ну, вот, Немилович. Я вас еще не знаю. Пришел поглядеть на вас.

Он засмеялся, как обычно, по-воробьиному, со вздохами и небрежно, с изломом в кисти протянул мне руку.

— Мы с вами, Угрюмов,—давнишние друзья и спорщики. В столкновении и переплетении внутренних человеческих энергий завязываются узлы новых ощущений, и комплексы элементов мира раздвигаются, сливая нас с бесконечностью. Это—хорошо. Это—чудесно. Это—невыразимо прекрасно. Я немножко ослабел физически от этой голодовки. У меня, видите ли, пошаливает туберкулез. Тюрьмы. Ведь я три года до этого провел в тюрьмах. А теперь, вероятно,—тоже надолго.

— Вот вам и закон объективных фактов, Немилович. Вы ведь отвергаете примат объективных фактов. Ваша философия расползается по всем швам.

У него захрипело и захлюпало в груди, и смех его захлебнулся в клокочущей пене. Но он, не переставая, чистил длинными пальцами свою шелковую бороду.

— О, нет. Это—закон первобытного примитива, ибо закон так называемых объективных истин есть следствие основного закона чистой относительности. А я—только звено в бесконечной цепи свершений: я—во всем, и я— всё. И весь мир—только моя сказка, мое творчество, причудливый трепет сгущенной энергии...

Мне казалось, что он безнадежно отравлен чем-то в роде алкоголя или морфия. Он был далек от нашей действительности и создавал какой-то свой, несуществующий, непонятный мне мир. И то, что он говорил,—и

говорил только один, не давая говорить мне,—утомляло меня, опустошало душу: точно этими хриплыми, липкими словами он плевал мне в лицо, и эти густые плевки тягуче рассасывались по жилам, останавливали кровь, и мозг мой покрывали слоем слизи. Меня неудержимо потянуло в коридор, на морозный, открытый воздух, звенящий солнечными волнами, утонуть в хороводной толпе товарищей и слушать богатырские крики Замятина, который был роднее и ближе всех.

Архип внимательно и жадно слушал Немиловича и не сводил с него широко открытых глаз. Он стоял около меня и тянулся к нему с восторженным самозабвением юнца, который впервые в жизни услышал необычные слова, полные сказочной красоты и глубокого значения. Очарованный, он робко, осторожно сел на край койки Немиловича и пролепетал стыдливо:

— Товарищ, могу ли я у вас остаться, чтобы послушать вас и поговорить с вами?

— Я очень рад, милый юноша.

— Вы скоро умрете, Немилович. И это будет лучше для вас.

Эти мои слова потрясли его, как сильный электрический разряд. Он застыл, окоченел и стал еще больше похож на мертвеца.

Архип тоже с пристальным испугом смотрел на меня и вздрагивал от волнения.

— Зачем вы говорите мне эти мерзости? Я не хочу этого слушать.

— Закон объективных фактов, Немилович.

Архип протянул ко мне руку и лепетал растерянно и гневно:

— Это—жестоко, товарищ Угрюмов. Я не ожидал от вас...

А лицо Немиловича уже дрожало от нутряной улыбки, и глаза смотрели на меня женственно кротко и радостно.

— Можно ли так говорить о вещах, которых вы не знаете, Угрюмов? Вы говорите так потому, что боитесь тех слов, значение которых вам непонятно. Что вы мне говорите о смерти, когда это—только особая форма жизни, как холод есть особая форма теплоты. Разве в ней меньше глубоких переживаний, чем в том, что мы называем жизнью? Голубчик мой! Вы никогда не будете революционером, если не произведете революции в себе.

Тогда революция внешняя согласованно пойдет по принципу наименьшей траты сил. Внешняя революция без внутренней—вульгарная, мещанская утопия.

Я махнул рукою и захромал к двери.

Весь этот день был пьяный и беззаботно пустой. Камеры были открыты, и в коридоре плавала пыль, как жидкий сизый дым. Люди были слабы и глупо праздничны. Встречались в коридоре, заходили в чужие камеры, не знали, что говорить, ухмылялись, опять уходили и бездельно слонялись, не находя себе места. Ели мало, а когда ели, на лицах корчились гримасы отвращения. Митря съел большой ломоть хлеба и мучился животом. Он лежал на койке и стонал, нудно и глухо, потелячьи.

Было скучно и тоскливо от пустых расстояний: все были чужие, далекие, и не было слов для дружеского общения. Однообразно звучали в разных местах только одни надоевшие слова:

— Вы—из какой камеры?

— А вы?

— Ну, как?

— Ничего...

И было странно и непривычно от этой внезапной свободы. Что-то нужно было делать, произвести какой-то переворот в нашей жизни, но все бродили по коридору и по камерам, натыкались друг на друга и глупо улыбались. И в лицах и в движениях было недоумение, разочарование и сконфуженность. Уже к полдню коридор был пуст: все громоздились по своим камерам, и эхо голосов перекатывалось встречными волнами, лениво и скучно. В прошлые дни мрачные стены камер давили нас, и мы задыхались в этих склепах, а теперь эти стены вдруг стали ближе, роднее, уютнее и успокаивали душу своей каменной устойчивостью и молчанием.

Черная тень

Я ждал, что Ольга первая вызовет меня на свидание. Мне хотелось испытать ее. В чем? В любви? В желании быть около меня? В товарищеской привязанности? Я жил только одной мыслью: вот войдет надзиратель и крикнет мне издали:

— Угрюмов, на свидание.

Каждый день кто-нибудь получал письма. Некоторые уже виделись с женщинами, с которыми сидела Ольга. А я упрямо сидел и ждал.

И дьяволом ухмылялся Прахов. Его слова незабываемо ныли в памяти и мучили меня до отчаяния:

— У ней—пустые глаза, и лицо—пустое. Она никого не любит. Ты ее любишь, а я не подпустил бы ее на версту к партийному делу.

Она стояла передо мной, как живая: вот она чуть-чуть сутулится в постоянном стремлении бежать куда-то по неотложному делу, чуть-чуть склоняется голова в глянцевых волосах на висках, и глаза—широко распахнуты, непроницаемы для меня, вспыхивающие далеким огнем полупонятного намека. Вспомнились ночные часы торопливой любви. Это была азартная игра под зоркими глазами жандармов.

Однажды, когда я уходил от нее воровской тенью, я взглянул в ее немного пьяное лицо в загадочно скрытой улыбке, и мне на миг показалось, что я ее совсем не знаю, что она—непроницаема для меня, что она, Ольга,—только маска, и этой маски она не снимет никогда.

— Ольга, ты не думаешь, что нас в два счета можно схапать, как птенчиков? Надо переменить квартиру.

Она взглянула на меня вызывающе и засмеялась маленькой девочкой.

— Вот. В этом вся острота любви. Меня не привлекает мерзость мещанского сластолюбия. Я и в любви приемлю только риск.

Она обняла меня и сразу же оттолкнула.

— Надейся на меня, голубчик, и верь. Ни один жандарм не может ворваться сюда. А если ворвутся, мы сумеем уйти за тридевять недостижимых расстояний.

Она отдернула по шнурку белую, в прошивках, занавеску на кровати от ножки к ножке и нагнула мою голову:

— Смотри.

Я заглянул под кровать, в темное нутро. Там было пусто, чисто (когда она успевала следить за чистотой?), немного пахло пылью, только около стены валялись стоптанные башмаки.

— Я ничего не вижу, Ольга.

— И никогда не догадаешься. Тут—ход в подполье, а из подполья—в сад, а в саду—худые заборы.

— Все это сделано твоими руками?

— В этих теснинах совершались большие дела. И будут совершаться еще. На случай обыска все предусмотрено, и я еще ни разу не опростоволосилась. Будь спокоен, дорогой: у меня здесь пардусово гнездо.

Нет, у нее, Ольги, не пустые глаза.

По ночам я смотрел на сонного Прахова, и сердце мое обжигалось ненавистью к нему. И где-то в глубине черепа плелась неотвязная мысль:

«А ведь Прахов—провокатор. Это он нарочно смущает меня туманными загадками насчет Ольги. Это—для того, чтобы мое недоверие к нему перенести на Ольгу и любовь мою отравить убийственным подозрением. Несомненно, так может поступать только провокатор».

И мне казалось, что он тоже не спит и следит за мною сквозь дрябло закрытые веки. В один из таких бессонных часов он нечаянно взглянул на меня, и на мгновение я увидел в его помутневших глазах несдержанный испуг. Что это: боится он меня или чутко сторожит каждое движение? Почему бы не встать ему с койки в тот миг, когда я незаметно теряю сознание и погружаюсь в сон? Это—дело секунды: навалиться на меня, задушить, а потом симулировать мое самоубийство. С этих пор я уже не знал больше ночного сна.

Однажды утром, за чаем, он через прищурку спросил меня быковато:

— Почему ты не спишь по ночам?

— А почему ты знаешь, что я не сплю? Следишь за мной, что ли?

— А почему бы и не последить за тобой?

Он ухмылялся и посматривал на меня с насмешливым презрением. Он издевался надо мною, а я едва сдерживал свое бешенство.

Из-за трусости или из иных побуждений?

— Дурака ты валяешь, приятель. Я знаю, чем дышит каждая твоя ноздря.

Он встал и пошел к двери, твердый и уверенный в себе, с широкой, неломкой спиной. А я, изуродованный ненавистью, брякнул кандалами и вскочил с табуретки. Мне хотелось раздавить его, ошеломить страшным ударом, от которого он согнулся бы и стал жалким и опустошенным. Он обернулся и, не вынимая рук из карманов, молча уставился на меня в ожидании скандала.

— Я тебе не прощу, Прахов... Твое подлое отношение к девушке и ко мне... Ты знаешь, о чем я говорю... Это мною оценено по достоинству. Я теперь понял, с кем имею дело. Поэтому я скажу тебе с особым удовольствием...

— Ну, кончай, чорт бы тебя съел... ну?

— Твоя Наташа...

— Что—моя Наташа?..

Я хватался за остатки своей силы, чтобы оборвать себя или расколоться легкомысленной шуткой. Если бы я улыбнулся Прахову и посмотрел ему в глаза с дружеским смущением, все кончилось бы сердечным примирением, и мутная тень, которая колыхалась между нами, растаяла бы, и мы бросились бы друг другу на шею. Но я летел в пропасть, и никакая сила не могла меня спасти. Слова вырывались уже сами собою.

— Так вот знай же... Дынников—прав... ты—эгоист, трус и убийца...

— Овва! Бей оглоблей по воробьям, чорт подери...

— Да, я бью тебя... с особым удовольствием... Твоя Наташа повесилась... Вот.

— Что-о? Да я тебя, сволочь, задушу, как поганого щенка...

Я не знаю, почему он не убил меня в эту минуту. Я ждал, как неизбежного: вот он бросится на меня, и мы будем кувыркаться с ним по полу, как остервенелые псы, рычать, грызть друг друга и плеваться кровью. Но было тихо и пусто. Прахов сел на койку и посмотрел на меня синим угасшим лицом.

— Ты это... откуда? Кто тебе сказал?.. Разве этим можно шутить?.. Это тебе сказал Дынников?

Потом встал, боязливо оглянулся вокруг, опять сел и поперхнулся. Опять встал и рыхло вышел из камеры.

Разбитый и обессиленный, я вдруг остро почувствовал, что я—один, что вместе с Праховым исчезла и моя связь с людьми, которая завязалась давно через стены камер и через волчки, живые от глаз. Удар, который был направлен в Прахова, обрушился на меня самого. Стены стали ближе и тяжелее, и бурой плесенью в них вросла безнадежность.

Митря лежал на локте и смотрел на меня жадными, обалделыми глазами. Он улыбался застывшей очарованной гримасой и часто глотал обильную слюну.

— Ых, галманы, мордоплюи, осина-борона!.. По усам

текло—в рот не попало... Пахорукие губошлепы!.. Разве так дерутся?.. Ведь срамота одна...

Он брезгливо сплюнул и лег, обиженный и унылый.

В этот день я не был в своей камере (невыносимо было чувствовать стены) и не видел Прахова до поверки. Когда заперли камеру, он лег на койку, повернулся ко мне спиной и застыл без дыхания, без движений, без дремотных судорог. Мне было больно и стыдно, а где-то под черепом дымилась дурною кровью мстительная радость: а все-таки я проучил Прахова—сделал его беспомощным и жалким. И в то же время мне неудержимо хотелось подойти к нему, склониться над ним и сказать задушевно:

— Прахов, я был к тебе несправедлив. Забудем об этом и по-старому будем друзьями.

Но я был во власти какой-то силы, в которой я утопал, как пылинка. Бороться с нею я не мог, и вырасти из нее было невозможно. Почему я не переживал этого раньше, когда был в подполье, в открытой революционной борьбе, в моей маленькой личной жизни, богатой сплетением живых связей с людьми?

Это—отравная плесень тюрьмы, это—гарпии, живущие в камнях.

Может быть, не нам, а нашим потомкам удастся открыть эти погреба и узнать свойства этих живущих в них сил, и они оправдают нас за наши недостойные поступки и преступления против себя и других.

Свидание с Ольгой

В комнате свиданий, огромной, сумеречной, с низким сводчатым потолком, с грязными потоками на стенах, пустой в этот час, затканной двумя полотнами проволочных решеток, меня встретил Дынников и грубо ткнул рукою на скамью.

— Честь и место. Можете признаваться в любви и вести брачные разговоры. Очень амурная обстановка.

— Это вас не касается, господин Дынников.

Он щелкнул каблуками и осовело уставился на меня.

— Чорта с два! Именно касается. Вы—в моей власти. А вот над собой власти у человека нет. Нет у меня над собой власти. Над вами есть, потому что я—ваш тюремщик, а моя судьба показывает мне язык. Извольте

не расхаживать. Сядьте! Вы—в тюрьме, а не в кабинете.

— Не орите, пожалуйста: не страшно.

— Знаю. Вы—тупицы, потому что фанатики. Мне—чорт с вами. Но мне—страшно. Моя тюрьма— мерзее вашей.

— Ну, и удирайте из своей тюрьмы. Кому вы нужны?

— Именно. Хлык, хлык... к чорту в глотку...

— Куда угодно. Хоть повесьтесь.

— Это—мое дело. В советах не нуждаюсь. А вас я бы всех перевешал.

Он зашагал широкими взмахами ног, вздрагивая головою, точно его душило, и раз за разом ухмылялся и мычал что-то неопределенное в звуке.

Ольга вошла уверенно и твердо. Глаза ее были такие же голубые и широко открытые, но в них было что-то новое для меня: они были сухие и отвердевшие, будто роговые. Она улыбнулась с судорожной натугой, и эта улыбка была не своя и сейчас же угасла. С мимолетным любопытством скользнула по моему лицу чужим взглядом и молча села около меня на скамью.

— Ну, здравствуй, Ольга!

Она опять мертво улыбнулась и, насилуя себя, протянула мне руку.

— Здравствуй!

Потом опять с удивлением взглянула на меня, как человек, который видит меня впервые, и чуть-чуть отодвинулась.

Дынников мотылял около нас и гнусаво квакал, как лишенный ума:

— Хлык... хлык...

— Мы давно не виделись с тобой, Ольга.

Она не ответила и смотрела в пол. Только улыбка дрогнула на лице отраженной судорогой.

— Ольга, я все время думал о тебе. Почему ты мне ничего не писала?

Она быстро взглянула на меня с упреком и изумлением.

— К чему этот сентиментальный разговор?

И отвернулась, точно хотела скрыть от меня свое лицо. Она тяготилась мной и ждала той минуты, когда кончится наше свидание. Прежняя Ольга ныла в душе тоскливой болью: эта Ольга—не Ольга. Та Ольга умерла и стала недостижимой. Это был чужой человек, которого я не знаю и нутро которого спрятано за стеклянными глазами куклы. Так бывает только в кошмарах, когда ждешь,

что близится что-то огромное, бесформенное, непонятное, которое не подчиняется никаким физическим законам—оно скрыто в глубинах, куда не в силах проникнуть сознание. И потому, что оно непостижимо и кромешно,—оно страшно в своей неотразимости.

— Скажи мне что-нибудь, Ольга. У тебя есть что рассказать.

Она зябко ежилась, вздрагивала и напряженно думала о чем-то своем,—мучительно думала, будто на нее обрушилась какая-то беда, и она, раздавленная, барахталась только в узелках своего мозга.

— Да что ж говорить? Я тебе уже все сказала. Полный разгром. Кроме Гельгеров, никто не избежал расправы. Каторга, ссылка. Я еще до сих пор не оправилась от этого удара.

Она опять взглянула на меня оледеневшими глазами и опять улыбнулась. И, когда я опять увидел эти глаза, мне показалось, что комната стала темнее и ниже, и со стен и потолка сползала угрюмая тень.

Ее глаза были п у с т ы е.

— Ну, а ты, Ольга?.. Ты ничего не сказала о своей участи.

— Моя участь?.. Я, право, не знаю...

— То-есть как не знаешь? Ведь ты же приговорена?

— Нет, я не была на суде.

— Как же это? Ведь организация тебе многим обязана...

И опять блуждающая улыбка в пустоту.

— То же самое говорят и другие. Это должно вызвать подозрение, не правда ли?.. Супруги Гельгеры и я...

— При чем тут подозрение? Я просто интересуюсь...

— Меня направили в административную ссылку.

— Куда же?

— Не знаю. Куда-нибудь ближе к Якутке.

Внезапным вывертом руки, как актер, Дынников уткнул в Ольгу дрожащий палец, и лицо его исказилось брезгливой гримасой.

— Она лжет, каторжанин. Не верь ей... Впрочем, любовь построена на глупости и нелепости. А легковерие—из этого порядка... Хлы... хлы... Она на-днях отправляется к своим пенатам.

Ольга медленно подняла голову и взглянула на него с холодным недоумением.

— Да? В первый раз от вас слышу.

— Ну, и больше ничего. Довольно! Шагом-марш по своим клеткам! Священное слово—тюрьма. Это надо понимать... хлы... хлы... и чувствовать смак...

Ольга поднялась сразу, будто обрадовалась, и торопливо сунула мне руку откуда-то из подмышки. Я тоже поднялся и ждал, что она взглянет на меня и скажет на прощанье какое-то свое, наболевшее слово. Но она ушла быстро, обычным бегущим шагом и ни разу не оглянулась.

Дынников засмеялся глухо, с хрипотцой, и глаза его налились слезами.

— Поздр-равляю... с трагическим браком...

— И вас также...

— Ш-што-с?

Он дико вытаращил на меня угарные белки, и усы задрыгали в растерянной улыбке.

— Надзиратель!

Слепая пустота

Стены камеры раздвинулись, но воздух был такой же застойный и грязный, как в прошлые дни. В длинной воронке коридора целыми сутками дымилась вонючая муть. Она пакостно вползала в камеры, царапала горло, растворялась в крови, осаждаясь в мозгу неугасимыми головными болями.

Однажды вечером надзиратель притащил пузатый тюк махорки и спичек, и ночью секретная задымилась навозными кучами. И долго, до самой полночи, камеры смеялись и пели своими утробами, и уже не было той строгой, ушедшей в себя тишины, которая недавно сгущала тьму раздумным самоуглублением. Тогда ночные стены и эта подвальная тишина были полны смутных предчувствий и тревожных томлений. Тогда каждое мгновение разбухало в часы, и мы растворялись во времени до потери сознания.

Теперь время играет и плещет потоком. Оно застаивается только в ночных необитаемых углах и закоулках. И хороводные голоса, и взрывы хохота, и вспыхивающая цыгарка в зубах у Митри, и растянутые спутанные спирали дыма в камере, и зеленый туман в коридоре,—все это превратило тюрьму в вагонную сутолоку. Все стало обычно, скучно, буднично, однообразно.

Каждый день, с утра до вечера, камеры теряли свою обособленность: двери широко распахивались, и стены смахивали застойную пыль. Камер не было, и коридор сливал их в одну общую казарму. И люди стали тусклы, с маленькими словами, неотделимыми от их платья, от сна, от еды, от их привычных движений. Курили до одурения, играли в коридоре в чехарду, писали письма, читали газеты, коченели над шашками. Замятин орал песни по целым дням. Бродил по коридору из камеры в камеру, как бездельник, брякал кандалами и выл:

— Хорошая песня, друзья, это—крепкий, надежный винт для жизни. Ежели бы не было песни, половина наших героев издохла бы без всякой славы. Песня, это—хорошая отдушина в недобрый час невзгоды. В дни наших побед и завоеваний мы отведем песне и музыке самое почетное место.

Он всегда был полон здоровья и бодрости, всегда был шумный и размашистый, всегда ворошил и будоражил всех своей неуемной силой и лошадиными легкими.

И мечты его о будущем тоже были насыщены здоровой кровью. В его взревах эти мечты через кандальный звон были ощутимы, как настоящее.

— Други мои, аскеты и скопцы! У вас нет радости жизни, потому что в вас нет трепетанья будущего. Вот я имел вчера свиданье с анархистками, с юными бунтующими девами, а вы меня облаяли ёрником. Лицемеры! Как истинный революционер, исповедывающий единую реальную цель—железную диктатуру пролетариата,—я высоко ценю и возвожу в культ великое творение природы—прекрасную женскую любовь. Новая античность, это—здоровое тело, могучий мозг, любимый труд, обнаженная гомерическая любовь, творящая искусство. Вот оно—будущее. Разве я не могу создавать гимны будущему в стиле несравненного Уитмэна? Чорт вас подери, это я доказываю вам каждый день. Вы—тупицы и бездарь, потому что не можете оценить по достоинству моих талантов.

На дворе уже не было бессмысленного и казенного хождения гуськом по квадратному периметру около палей. Пышный снежный сугроб был вспахан множеством ног и теперь был уже грязный, комкастый, льдистый и не искрился радужной пылью. Только воздух попрежнему хрустел морозом и высекал искры на солнце. Надзиратель стоял уже около стены секретной, у входных

дверей, и был дремотно-рыхлый, глухой, слепой и безгласный, как чучело.

Замятин, как всегда, первый выбегал в одной арестантской блузе, рвал кандалы и будоражил снег огромными опорками. Он с ревом бегал по двору и, комкая снег в широких ладонях, встречал нас белыми бомбами, которые сочно рвались у наших ног и на стене секретной. Начиналась всеобщая ералашь, хохот и толкотня. И— кучи человеческих тел, засыпанных снегом, свалка, оскаленные лица, пьяные от крови и воздуха, обжигающего легкие.

Каждый день я подходил к палям и смотрел на дворик женской тюрьмы. Там тоже была снежная свалка, и визг женщин волновал нас и ломал этот гнилой забор, который отделял нас от них тонкими трухлявыми бревешками.

И каждый день мы гурьбой толкались у палей и кричали лающим призывом, как голодные самцы:

— Товарищи женщины!.. Сюда!.. Женщины, сюда, к нам!.. Женщины!..

Забор трещал и шатался от напора, и наши крики и крики женщин сливались в общий гам: мы осязали друг друга в запахах и дыхании, жадно ловили пальцы, просунутые в прорехи. Мы не могли видеть лиц и фигур, но мы чувствовали их близость и уносили с собою случайные прикосновения их рук и их голоса, которые звучали чудесной музыкой.

Несколько раз я один подходил к этому забору и смотрел на двор, живой от птичьего смеха. Я хотел хоть на миг увидеть Ольгу. Ее не было в их крылатой толпе. Она, вероятно, была или в камере, или сидела где-нибудь около стены, одинокая, нелюдимо-строгая, ушедшая в себя. И оттого, что я потерял ее и она растаяла в моих дневных впечатлениях,—я тоже отчужденно бродил по двору, и мне было больно, что я—один с своей тоской, что никто из этой ералашной артели не поймет меня. Я избегал товарищей и в коридоре и боялся только одного, как бы не подошел ко мне кто-нибудь из них и не оглушил меня шальным и назойливым словом. Некоторые из них смотрели на меня пытливо, исподлобья, порывались встряхнуть меня вопросом, но не решались.

— И, как всегда, по-юношески тепло подошел ко мне этот широколицый, губастый Архип.

— Что с вами, товарищ Угрюмов? Вы не больны?

И не мог сдержать молодой радости. Она дрожала в его глазах, и жизнь играла в нем, как родник в солнечный день. Тюремные будни цвели в его душе весенним праздником, и потому, что он считал себя узником за дело революции, он был счастлив и трепетал от гордости и восторга.

— Если вы нуждаетесь в помощи, товарищ Угрюмов, я—с радостью...

— Видите ли, Архип... бывают моменты, когда человеку важно остаться наедине с собою. Есть вопросы, которые зарываются только в нутро. Так вот, я переживаю именно такой момент.

Он сразу загорячился, и глаза у него стали совсем младенческими и прозрачными. Его мысли вспыхивали в зрачках ярче, чем его слова, и я видел их раньше, чем они воплощались в звуке.

— Вам ли это говорить, товарищ Угрюмов? Вы—боевой революционер. На ваших плечах—годы каторги, а на ногах—кандалы. Вам ли унывать и уходить в себя? Я не могу этого понять. Ведь это же мне нужно бы распускать нюни: мне стыдно, что у меня—только паршивая ссылка, и мне приходится только валять дурака.

Он обезоруживал меня своей детской серьезностью и радостью, которая не умещалась в сердце. Его голова горела книжными вымыслами и сказками о небывалых подвигах и богатырях, которых не бывает в жизни. Он забывал, что революционер, это—непримиримая ненависть и безрадостное детство, что это—долгий путь мучительной борьбы, отверженности и бесправия. Я сказал ему об этом неясными словами, похожими на намек: я не хотел, чтобы он ушел от меня, отравленный обидой. Он тихо и грустно перебил меня:

— Ну да. Я это хорошо чувствую: ведь я—из рабочей семьи. Мой отец—машинист. Он погиб при крушении поезда. А сестра у меня кончила только начальную школу, а сейчас—в ученье у портнихи. У матери только и была одна надежда, это—я.

— Откуда же у вас такой радостный пыл? Вы—романтик, Архип.

— Радостный пыл? У меня-то радостный пыл? Вот уж не ожидал... Да мрачнее и злее меня, кажется, и человека нет. Я только и думаю о беспощадной борьбе, о кровавом восстании против господствующих кровопийц.

Я знаю, что это—навсегда, и я не кончу, как все: живым я не сдамся.

В первые же дни разгорелись дискуссии в камерах, и эти дискуссии были сумбурны, крикливы, душны от толчеи и отравлены табачным дымом. Спорили до надсады, до хрипоты, до обалдения. Споры велись обычно между эсдеками и эсерами по аграрному вопросу. Уши глохли, рвались мозги от «социализации», «муниципализации», «отрезков», «национализации», «латифундий», «парцеляций»...

— Ваши отрезки—это трусливый паллиатив. Это—реакционная утопия, с которой нужно бороться, как с самодержавием. Это—пошлость, которая выдает всю вашу беспомощность и убогость. Крестьянин—не нищий: он не хочет собирать кусочков. Мы не хотим пауперизации... Муниципализация, это—уже рабское подражание социализации социалистов-революционеров.

— Что такое? Мы, меньшевики,—реальные политики и никогда не шли на поводу у эклектиков. Муниципализация земли вытекает из реального соотношения сил современной деревни... Производительные силы страны... Мы—решительные противники вооруженного восстания... Большевики—не меньшие утописты с своей теорией захвата власти... Пора подпольного авантюризма, это—младенческая игра... бланкизм, который осужден историей... Организация сил вокруг Думы...

— Позор. Это—филистерство... Меньшевики, как и эсеры, в одинаковой степени капитулируют перед буржуазией. Только диктатура пролетариата и крестьянства является единственным лозунгом для революционной борьбы. Вы панически бежите с поля битвы. Вы—изменники, пошлые ликвидаторы... Вы бессовестно предаете пролетариат за чечевичную похлебку... Принцип классовой борьбы для вас—только грязная тряпка...

Ералашь, угар, вытаращенные глаза, банный пот, бешенство, готовое взорваться свалкой.

С Праховым мы мучительно-нудно молчали. А когда глаза наши невольно встречались, у него вздрагивали веки, и в зрачках были мутные капли. Митря был одинаково открыт и ему и мне. Когда Прахов разговаривал с ним, он был попрежнему прост и понятен, добродушно смеялся, болтал будничный вздор и возился с ним, как с кутенком.

Днем я редко видел Прахова. Сначала он ушел с головой в работу по организации коммуны. Пропадал в кухне: вводил там дисциплину среди поваров из уголовных, инструктировал дежурных, устраивал общие собрания по вопросам внутреннего быта.

В течение недели произошли большие перемены в секретной. Каждый день по утрам все были заняты чисткой камер и коридора. Из камер убрали параши, а на их место поставили крепко сбитые стульчаки с ведром в середине и отводной трубой. И уже не было нудного смрада в казематах, а по камерам и в коридоре долго пахло смолистым запахом новых досок.

Впервые за все время дурашливой толпой ходили в баню. Покрытые белыми хлопьями мыльной пены и тающие в струях воды, все эти нагие люди казались не арестантами, а свободными обывателями, которые сейчас выйдут в предбанник, оденутся и, распаренные, разбредутся по своим домам.

Я утопал в певучем гуле голосов, смеха, шлепанья ладоней по глянцевым телам и сам заражался бодрым весельем, дурил и забывал, что я—в тюрьме, что на ногах у меня—кандалы.

Прахов сильно изменился за эти дни: ссутулился, постарел, молчаливо смотрел исподлобья угрюмым, немножко одичалым взглядом, и скулы у него стали острыми, сизыми, а лицо—грязным, точно он не умывался, и в морщинах на лбу и около глаз чернела застарелая копоть. И волосы будто не чесал: на голове они были кудлаты и сальны, а борода—путана, в клочьях. Он ни с кем не говорил, не останавливался на зов—всегда был замкнут, деловит и сосредоточен на одной мысли. И уже не боролся с Замятиным и не принимал участия в снежных свалках: он был один, с затаенной, неумирающей болью. Я знал его боль, знал, чем он жил в эти дни, но был к нему равнодушен: ведь у меня тоже была боль, до которой нет ему дела. Может быть, для того, чтобы заглушить в себе эту боль, он взял на себя всю тяжесть хозяйственных и организационных дел в нашей секретной. Голос у него стал как туго натянутая пружина: этот голос трудно было вынести—он давил, бил по нервам суровым убеждением и ледяным спокойствием.

Многие одобрительно улыбались ему вслед, а многие возмущались и, бледные от обиды, шумно ругались в его отсутствие. Потому ли, что Прахов был эсдек-боль-

шевик, и эсдекам была по душе его властная суровость,—большинство их стояло горой за него и насмешничало над недовольными:

— Прахов—молодец, крепкая голова. Плевал он на ваше самолюбие с высокого места. У вас нет даже мужества выступить против него открыто. Погодите, он вас быстро возьмет под жабры...

Эсеры и анархисты хотя и не действовали активно, но составляли дружный оппозиционный блок. Спорили обычно в камерах, и споры эти как-то взрывались сразу в разных местах. Кричали безалаберно, не слушая друг друга, и было похоже, что во всех камерах—бурные ссоры и склока, которые разразятся всеобщим мордобоем.

Однажды вечером, перед поверкой, Прахов вошел в камеру, слепой и мутный. Он остановился у порога, и мне показалось, что скрипнул зубами. В камерах была очередная горластая бестолочь. Он прислушался, дрыгнул раза два головой и ухмыльнулся:

— Вот сволочи!.. паршивые скоты!.. мерзавцы!..

Он вышел в коридор и крикнул, наливая кровью лицо:

— Эй вы, люди,—бунтари и скандалисты! Выходи и слушай. Живо, чорт бы вас подрал, лоботрясов!..

Крики оборвались и схлынули волной. Затопотали опорки, и железом рассыпались кандалы.

— Заявляю вам решительно и прямо, друзья и недруги. Вы этот свой гнусный заговор против меня оставьте. Режьте открыто в глаза, а нечего барахтаться подпольными крысами. Я знаю, чем вы дышите, милые товарищи. До тех пор, пока я—староста и выполняю возложенные на меня обязанности, я буду держать себя так и поступать так, как требуют интересы коммуны. А на ваши капризы мне начхать. Кого-то я обидел, кому-то не понравился, кому-то не сказал нежного слова, кто-то не выносит власти... Слабо, друзья мои. Вы хотите, чтобы я струсил и разыграл роль буржуазного министра: ах, граждане, вы выражаете мне недоверие—я слагаю свои полномочия. Я, голубчики,—не из таковских и собачьей старостью не страдаю. А со всеми смутьянами и дезорганизаторами мы сумеем справиться по-революционному. Я все сказал—можете успокоиться.

Он повернулся с уверенностью человека, знающего

свою силу, и пошел в камеру. Его шаги замерли в аплодисментах и криках:

— Браво, Прахов!.. Молодец!..

— Позор!.. Долой диктатора!..

— Браво!.. Завинчивай крепче, товарищ...

— Долой!.. Позор!..

— Браво!.. Это—хулиганство, товарищи... бездельничество... С этим нужно беспощадно бороться... И Прахов—молодец... Так вам и надо, чертям собачьим... Эту анархию мы быстро вытравим, как заразу...

И теперь, как и в прошлые вечера, мы не смотрели друг на друга и елозили в собственных думах. Но впервые в эти ночные часы между нами завязалась новая тревожная связь.

Уже закутавшись в одеяло, он бросил мне на стол комочек бумажки. Она была грязная, засаленная и туго сложена острым треугольником. Я прочел слепые слова, нацарапанные карандашом:

«Родной мой! Все силы уже истрачены. Я надорвалась. Я—не для тебя. Слишком непосильную ношу я взяла на свои плечи: любовь к тебе раздавила меня. А кругом без тебя—такая тьма, такая могила, что непереносно жить. И я уже много дней умираю от мысли, что я тебе не нужна. Наши жизни несоизмеримы. Прости за то, что я не могла дать тебе того, что тебе нужно. Ты—слишком сильный, чтобы не тяготиться моим бессилием. Я уже не способна к сопротивлению. Благодарю тебя за то счастье, которое ты мне дал: я его не заслуживала. Ты же достоин другой любви—могучей и не ломкой. Есть такие пороги, через которые не дано переступить. И я исчезаю с мыслью, что ты—за этим порогом. Забудь о неудачной осенней былинке, которая растоптана безвременьем. Но вспомни иногда о былой, горячей и жертвенной Наташе».

Я опять тщательно сложил бумажку по прежним складкам в тугой треугольник, положил ее на противоположный край стола, около Прахова, и украдкой взглянул на него. Он лежал на койке вверх лицом и, закинув руки за голову, смотрел в потолок непотухающими угарными глазами. Он не заметил, а может быть, сделал вид, что не заметил, как я положил бумажку, и сказал обычно жестким и упругим голосом:

— Баба даже самая умная—только и есть, что баба: она всегда шагает только через глупость.

И голос его упирался и набухал где-то глубоко в горле, точно его душила икота.

Я ответил не сразу, рассеянно, сквозь зубы:

— Парадокс—тоже разновидность глупости. То, что для тебя просто и вызывает презрение, то для меня—сложно и вызывает раздумье и тревогу.

Он не отозвался и отвернулся к стене.

После свидания с Ольгой я уже не видал Дынникова. Вместо него на поверку приходил чистенький, надушенный, всегда свеже выбритый молоденький помощник. Он был всегда деликатен, предупредителен, с манерами щеголеватого офицера. Говорил тихо и бархатно, с едва заметными поклонами.

Сношение с миром было уже через Мизинчика. Когда он нагружал письмами свою пазуху или передавал их Прахову, сердито усмехался и бормотал в бороду:

— Пропадешь с вами, черти не нашего бога. Ведь закуют. А у меня—семеро с ложкой... В деревне—ни при чем, а в городе, окромя полиции, и места не найдешь. Кто возьмет меня, такого чумного? Хуже волчьего билета.

Его давили тесной толпой и ласково хлопали по плечу.

— Ничего, ничего, Мизинчик, не робей. Это тебе зачтется. Дадим тебе самую лучшую рекомендацию. Да и зачем тебе итти на сторону: ты и здесь хорошо служишь революции.

Он делал свирепое лицо и орал на весь коридор:

— Ах вы, шпана шилохвостая!.. Да я вас в бараний рог согну!.. Да я мокрого не оставлю в вашей революции... Да вы знаете, что я здесь поставлен для удавления крамолы?..

Все тормошили его и кричали «ура». А он, довольный и грозный, смеялся глазами и уморительно шмыгал носом.

— А-а!.. то-то же... я вам покажу, какие бубны за горами...

Неожиданно я получил ошеломляющую записку. Она была без подписи, но Прахов сказал мне почему-то шопотом:

— Письмо от местных подпольщиков. Это—верно.

А письмо это было только из трех строк:

«Муха—под подозрением. Сведения от верных людей.

Есть факты, но требуют подтверждения и проверки. Будьте осторожны».

У меня дрожали руки и ноги, и в животе замирало, будто я летел вниз с огромной высоты. Не было ни людей, ни стен—была только густая пустота. Я лег на койку, но койки тоже не было, а только нестерпимая дрожь в руках и ногах. И странно: в душе было тихо и спокойно, и мысли были такие серые, будничные, и совсем не об Ольге.

...Нет расчески—только обломок. Надо купить... Завтра—дежурство по кухне... У Немиловича—чахотка и кровь горлом: скоро умрет...

В коридоре надоедно орал Замятин. Он ходил, задрав голову, и все время выл, как заклятый. Те песни, которые волновали на воле, сейчас—ужасная пытка. Они выворачивали нутро и мяли мозги. И весь этот день был только воем Замятина, и я не помню, какие были события, какие были встречи и разговоры. Может быть, я не обедал и не ходил на прогулку. А может быть, все это было, но делалось само собою, без участия моего сознания.

Ночью я проснулся от собственных стонов. Гаснущие образы сна были потрясающи и ужасны. Сердце билось редко и больно. Это была обреченность приговоренного к казни. А сон был простой и прекрасный, как картина большого художника. Но что-то в нем было страшное и отвратительное.

...Поле горит весной. Ядреная, золотая зелень и цветы—множество белых и желтых цветов: все ромашки, сурепка и одуванчики. И лазурь тает теплым ветерком. А по цветам ходит Ольга в длинном белом платье. Оно спускается сплошным полотном от плеч и теряется в зелени и цветах. Ольга стоит неподвижно, опустив руки, точно неживая. Я тоже стою неподвижно и очарованно смотрю на ее лицо. У нее—огромные провалы вместо глаз, а вместо ресниц—дождевые черви. Я хочу спрятаться в траве, спастись от Ольги, но не могу. Я—во власти нечеловеческой силы, которая непреоборима и которую нельзя объяснить никакими законами. Потом Ольга начинает медленно плыть ко мне. Я слышу, что вместе с нею льется тихая, милая песня. И будто не она поет, а все зеленое поле в цветах. Я хочу крикнуть от ужаса и—не могу. Я задыхаюсь и падаю в безнадежности.

В коридоре шаркали шаги, шелестел воровской шо-

пот, и откуда-то издалека наплывали тревожные волны, и эти волны ощущались не слухом, а всем нутром.

Смертники.

В страхе и смятении я встал с койки и, придерживая кандалы, засеменил к волчку. Мне почудилось, что отворилась входная дверь, и опять затворилась. Я приложил ухо к волчку. В коридоре была сонная тишина, и где-то далеко певуче цыкала редкая капель. Я опять пошел назад, наклонившись над кандалами и не выпуская их из рук. Прахов не спал и смотрел на меня с тревожным и немым ожиданием.

Последнее свидание

Ольга вошла не так, как в прошлый раз. Она быстро влетела, облитая прежней сияющей улыбкой радости, и глаза ее были, как всегда, широко открытые, чистые, утренние, как капли росы.

Перед нами, опираясь на проволочную сетку, стоял чистенький, тщательно выбритый помощник, похожий на молоденького офицера. Он с холодной вежливостью встретил Ольгу едва уловимым поклоном. Ольга даже не взглянула на него и, с неугасающей улыбкой, протянула мне руку.

— Ты сердишься на меня за прошлое свидание? Да? Это—нехорошо с твоей стороны. Я была больна, и ты этого не заметил. Это—плохо, что у тебя нет чуткости. Теперь же, вот видишь: я сама тебя вызвала. Только уж не надо ни ругаться, ни упрекать друг друга. А тем более сомневаться друг в друге. Я тебе должна сообщить следующее: меня отправляют обратно. Очевидно, привлекают к суду.

В ее глазах, таких прозрачных и распахнутых, не было ни тревоги, ни притворства. В них искрилась только радость, и вспыхивала та, свойственная ей, внезапная улыбка, которая бывала только в редкие минуты возбуждения.

— Я не вижу причин особенно ликовать по этому поводу, Ольга. Ведь, кроме каторги, ты ничего не получишь.

Она откачнулась от меня в смешливом изумлении.

— Мне говорят, что я похожа на Софью Перовскую. Ты не находишь этого?

И засмеялась.

В первый миг этой встречи я опять готов был броситься к ней на шею: эта улыбка, которая светилась еще издалека, от самых дверей, побеждала меня, и все мои сомнения и муки сгорали в ней, не оставляя пепла. Но этот неожиданный смех вдруг испугал меня. В нем было что-то такое, чего я не слышал никогда. Этот смех вызвал улыбку на усиках щеголеватого помощника, но в душе у меня что-то провалилось и заныло мутной тоской.

— Что с тобой? Мы, кажется, меняемся ролями в это свидание. Какой ты злопамятный! Не надо сердиться.

— Я не сержусь, Ольга. Мне только приснился очень скверный сон.

— Ну, вот. Выходит, что сон—в руку. Ты хочешь сказать, что этот скверный сон—к худу. Нечего сказать, удружил.

И опять я испугался. Эту болтливость я заметил у нее впервые. В ней было что-то чужое и оскорбительное.

— Я видел тебя во сне, Ольга... с пустыми глазами. А потом будто получил письмо, в котором было только два слова, которых я не помню, но значение их ужасно.

Она в упор врезалась в мое лицо застывшими глазами, и, сквозь окоченевшую улыбку, через вздрагивающие веки, в зрачках запрыгали тонкие иголки.

— Ну, и что же? Какой же скрытый смысл во всем этом?

— Нет, какой же тут смысл? Просто скверный сон, и больше ничего.

Она с затаенной враждой стала ощупывать меня прищуренными глазами.

— Ко всякому скверному сну надо относиться с особой осторожностью. Сон всегда прошлое, а не будущее. Вопреки рассудку, сон всегда создает ложь из самой настоящей правды. Это будто бы утверждает Бергсон.

Помощник рассеянно ходил вдоль сетки, курил, держа папироску наотлет и смахивал пепел мизинцем. И в тот момент, когда он сделал около нас военный поворот на каблуке, я сунул Ольге записку—ту самую, которую я получил накануне. Она мгновенно и жадно вцепилась в нее глазами, и грудь ее поднялась от судорожного вздоха. И в тот же миг она крепко зажала бумажку в руке.

Веки и губы у нее дрожали, и я опять увидел, что у нее—пустые глаза. И не знаю, почему я почувствовал больно и непоправимо, что передо мною—не Ольга, а этот образ кошмарного сна. Не Ольга, а страшный призрак—убийца под личиной невесты. А что, если это она надела на меня кандалы? Что, если эти несколько лет каторги были приготовлены мне первыми ее поцелуями? Как примириться с этой чудовищной нелепостью? Я был болен в эти дни, болен и в эти минуты нашего свидания. От кого исходила эта злополучная записка? Кто-то знал меня в этом далеком городе, кто-то знал и Муху—ее, Ольгу,—чтобы выделить нас из массы тех, которые заперты в казематах. Я сидел перед ней больной и разбитый и не мог посмотреть ей в глаза.

Она натянулась, как струна, и вздохнула, и в улыбке ее, мертвой, как маска, было огромное напряжение воли.

— Ты знаешь, кто это?

— Откуда мне знать? Для меня это слишком неожиданно.

— Это—кто-то из Гельгеров. Подозрение падало на одного из них и на обоих вместе. Самый пошлый, избитый прием, который, к сожалению, еще не потерял эффекта, это—направить следы по ложному пути. Я очень рада, что возвращаюсь на место. Я сумею разоблачить эту мерзость. Скажи мне, что ты думаешь сам.

— Не знаю.

Иголки опять сверкнули в ее глазах. Она откинула голову и взглянула на меня сверху, с брезгливым презрением.

— Ну, хорошо—не настаиваю. В эти гнусные дни—в дни самой подлой реакции—реакции внутренней,—когда люди сходят с ума, нужно быть готовым ко всему. Предатель мерещится даже в любимом человеке. Потому что предатель сидит прежде всего в самом себе. Всеобщий крах, всеобщее ликвидаторство. Нужно иметь железные нервы, стальную голову, каменное сердце, пустые глаза,—да, именно пустые глаза,—чтобы выдержать этот ужас. Не только тебе тяжело: я страдаю невыразимо.

Она поднялась и, не подавая руки, не прощаясь, даже не глядя на меня, пошла к двери. Потом споткнулась на шаге и оглянулась, но глаза, тусклые и мертвые, смотрели мимо меня. Это была не Ольга, а враг, который ненавидел меня и презирал навеки.

— Я не хочу убеждать тебя. Думай обо мне, как угодно. Это—твое дело.

Уже не было ни смятения, ни боли внутри, а какая-то безразличная туманная пустота. И совсем некстати, помимо воли, сами собою сказались последние слова, и эти слова я не ощутил в себе, а послышались они откуда-то издали:

— Ты, Ольга, не беспокойся... Я верю... Все образуется...

Она опять обернулась и бросила сквозь зубы мимо меня, в решетку:

— Как же тебе не стыдно!..

И ушла. И не оглянулась больше.

Провал

Утром, когда мы, по обыкновению, пили чай, вошел молоденький помощник и чопорно кивнул каракулевой шапкой.

— Доброе утро, господа. Будьте любезны, господин Прахов, пожаловать в контору,—там до вас есть экстренное дело.

Прахов встал и взглянул на меня пристальным, паническим взглядом. Потом усмехнулся в бороду и отвернулся к койке. Обычными неторопливыми движениями он напялил на себя свой длинный пиджак и хлопнул шапкой по ладони.

— Ну, вот. Готово.

И непонятно было, что он хотел сказать: напился ли чаю, или пришел для него давно ожидаемый решительный час. Опять взглянул на меня пристально, и глаза его вдруг налились криком о помощи.

— Ну, пошел. Обязанности старосты пока возьми на себя, Угрюмов. Распредели дежурства и просмотри отчетность. Понаблюдай за кухней.

Он прошел быстрым тяжелым шагом мимо помощника и скрылся в коридоре.

Митря ел хлеб и запивал его чаем с безумной беззаботностью. К столу я больше не подходил и в тревожном предчувствии бродил в пролете между коек.

— С нашим Праховым случилась беда, Митря.

Он испуганно посмотрел на меня и подавился хлебом.

— Неужли ж опять голодовка будет?

— Не знаю. Может быть, и будет.

Он весь повял и обрюзг.

— Опять, видно, накуролесили, идолы. И чего это вы гузном трясете, галманы? Чем вас обидели? Осина-борона! Жрешь—сиди. Открыли двери—тряси портками и молчи. Мордой не крути и других не доводи до греха.

Меня щекотал смех, а в мозгу ползала едучая мысль: как мы были глупы в своей надежде на революционный пыл мужика! Мы совсем не знали этого нашего деревенского союзника, и много еще придется принести жертв, чтобы узнать его и заставить пойти за собой. Через его необозримые поля должна пройти огненная буря, чтобы сжечь его тысячелетних домовых, разворошить его первобытные капища и навсегда уничтожить его избяной покой. Я не мог говорить с ним: не было общего с ним языка. Но мне неудержимо хотелось сделать ему больно, чтобы вызвать в нем злобу и бунт. И ничем, кроме обмана, я не мог испытать его.

— А ты знаешь, Митря, что хотят сделать с тобою и Праховым?

— Со мной нечего делать: я—теленок.

— А вот я погляжу, какой ты будешь теленок. Разве ты тоже был теленком в аграрных бунтах?

— Ну, осина-борона... Тогда я был хуже барбоса. Это—верно. Копыта у меня были телячьи, а башка—собачья.

— Вот денька через два я погляжу, какие у тебя будут копыта. Прахова уже, кажется, повели. А теперь—очередь за тобой.

Он недоверчиво улыбался, но глаза уже лопались от страха.

— Это... чего же, осина-борона?.. Потяни меня за хвост, а я тебя—за пупок... Мели на все поставы—помол недорого стоит.

— Можешь не верить, Митря,—твое дело. Но вас, аграрников, здесь два—три и—обчелся. Какая вы сила? А бунтари вы известные. Так вот вас и хотят закандалить на всякий случай. Ты этого и не знаешь, а Прахов все пронюхал и стал за вас горой.

Он стал вдруг маленький, грязный, с трупным налетом в лице. И в глазах, покрытых слизью, кровавой каплей темнела тоска.

— Ну, не ври, чортова кукла! Что больно высоко кукарекаешь? Дурее тебя, что ли?

— Как хочешь. Потом не говори, что тебя водили за нос. Я тебя предупредил, а там не пеняй. Видишь, Прахов передал мне и обязанности старосты. Для чего? Для того, чтобы в случае надобности организовать сопротивление. Не знаю, чем кончится этот день, но думаю, что будут большие события.

Он заплакал улыбкой, силился что-то сказать, но давился и не мог прорвать клокотавшую хрипоту в горле.

— Ну, так что же теперь делать-то, браток? а? Как же быть-то?

Я спокойно положил перед ним крепко сжатый кулак и сказал тоном приказания:

— Этого нельзя допустить. Мы будем бороться до последних сил. Раз нам объявлена война—будем воевать. Гамузом. Голодали гамузом—добились своего. И теперь будем бить дружной артелью. Мы возьмем свое—не беспокойся. А отобьешься от артели и будешь куксить—загремишь кандалами. Понял?

Не знаю, заразил ли я его искренней правдоподобностью своей лжи, или он ослеп от отчаяния,—он вскочил, как безумный, и начал метаться в проходе, между мною и столиком, натыкаясь на койки, на меня, на табуретку и путаясь в собственных ногах.

— Бить буду, сволочи... кусаться буду... как бешеная собака... Умру—не дамся... Кости ломать—так кости ломать... Нам—не впервой бунт... Все одно пропадать—бей!.. Булгачь народ—сам вожаком пойду...

А я наслаждался его буйным припадком и был в восторге от своей удачно сыгранной роли. Прахов не умел подойти к нему, а я вот мгновение сделал его человеком. Достаточно только одного взмаха, чтобы взорвать сердце бурною кровью.

Я взял его за плечи и так же спокойно и властно посадил на табуретку.

— Теперь слушай, Митря: об этом пока никому—ни слова. От этого зависит все. Надо взять себя в руки и ждать, что будет дальше. Остальное предоставь делать мне. Сядь и успокойся.

— Я сейчас, браток... за этого Прахова... за родного человека... в огонь и в воду пойду... на нож полезу, осина-борона... Ведь вот он какой человек!..

Я вышел в коридор и деловым перезвоном кандалов заглушил шорохи, бездельные голоса и скучающие утренние песни товарищей.

Прахов не возвращался.

Была дообеденная прогулка. В снежной борьбе, как и в прошлые дни, задыхались от ребячьей бестолочи. В метельной будораге слепли глаза от обжигающей огненной пыли, пыль таяла на лицах и стекала ручьями со щек, со лба, и горячая кровь в горлодере и хохоте враждовала с морозом.

В час обеда, вместо Прахова, около куба с горячими щами стоял я рядом с дежурными по кухне. И только теперь, когда люди нанизывались друг на друга длинными хвостами около стен—и вправо и влево—с деревянными чашками,—только теперь с разных сторон с праздным любопытством, равнодушно срывались вопросы:

— Где же наш Прахов, туды его горой?

— Что же это он? Начинает уж на манер патриарха-организатора? Не хочет спускаться к народу?

И пересмех и перекличка от скуки и давки, от неустоявшейся крови после прогулки.

После обеда, когда бак с остатками пищи и грязную посуду сволокли в кухню, я вышел в коридор и крикнул в один и другой конец:

— Товарищи, на экстренное летучее собрание. Выползай скопом. Продолжительность заседания—пять минут.

Как и всегда, на собрания высыпали из камер охотно, это были минуты, когда каждый приносил с собой прошлое. Были когда-то ночные собрания, были когда-то митинги и массовки, а теперь они вспыхивали в коридоре тюрьмы в докладах, прениях и голосованиях. Стены исчезали, и забывались арестантские будни.

Так и теперь: коридор затолпился и зашагал в мою сторону и справа и слева. И оттого, что все сгрудились, подпираясь плечами, и густо толпились кругом и так же густо рокотали месивом голосов,—все дышали настороженностью: ожиданием и нетерпеливыми порывами. И сразу же из общей спутанной неразберихи, зараженные друг другом, закричали вперебой, вперекрик:

— Какого же чорта Прахов?..

— Почему—в отсутствие Прахова? При чем тут Угрюмов?..

— Тише, товарищи!.. В чем дело, Угрюмов?

— Тут что-то, друзья, неладное... Я, брат, это сразу почуял...

— Прахов... Угрюмов... Тише!.. К порядку, товарищи!.. Избрать председателя...

Архип смотрел на меня влюбленными глазами и волновался. Он почему-то высоко поднял руку и, захлебываясь от восторга, крикнул певуче, с икотой:

— Товарищи, предлагаю в председатели уважаемого товарища Угрюмова...

И его крик сразу же смяла бестолковая свалка голосов:

— Почему Угрюмов?.. Много таких уважаемых... Эсдеки всегда ведут захватную политику... Лукина—в председатели... Эсеры похлеще эсдеков выставляют примат своей личности...

Архип не опускал руки и никак не мог побороть своего сердца.

— Я—к тому, товарищи... Здесь нам спорить не приходится... Стыдно кричать о местничестве... Я—к тому, что товарищ Угрюмов неспроста... у него—какое-то важное заявление...

Смех. Возня. Вскрики, похожие на щипки.

— Это еще что за пифий?.. Он еще гоняется за воронами... Ну-ка, Угрюмов, кажи, с какого боку ты уважаемый...

Архип сконфузился, скраснел, обиженно вздрагивал и озирался затравленным.

Я тоже поднял руку, призывая к порядку, и сказал спокойно, но с видом человека, которому известно то, что им не дано знать:

— Товарищи, я должен предупредить вас, что необходимость этого экстренного собрания вызвана особым тревожным обстоятельством. Прахов был вызван в контору еще утром и до сих пор не возвратился. У меня есть все основания думать, что с ним произошла катастрофа. Нам нужно приготовиться и реагировать на это событие организованно и решительно.

По толпе плеснулась изумленная растерянность и застыла тишиной.

Замятин вывалился из гущи толпы и закадычил, раздувая ноздри:

— Вот что, друзья. Кажется, опять мы—накануне веселого праздника. Праздник—дело необычное, и справлять его нужно с особым смаком. Я—любитель всяких ядреных праздников. Разрешите мне быть председателем по этому исключительному случаю.

Кто-то засмеялся пискливо и осекся. Прошелестели

улыбки. Но тревожное любопытство сейчас же смыло их с лиц.

Не ожидая, что скажет толпа, он только оскалил зубы и брякнул кандалами.

— Нет возражений?

И сразу же ответил сам себе:

— Нет. Единогласно. Послушаем, что еще скажет нам Угрюмов (а у самого—хитрая, знающая гримаса). Валяй, душа моя. Тебе внемлет напряженный слух испытанных борцов и ветеранов революции.

Я кратко сказал, что Прахову грозит или смертная казнь или долголетняя каторга. О причинах этого я нахожу нужным пока умолчать. Есть только три выхода из этого положения: или он будет отправлен в свой город, или водворен опять в нашу секретную, но изолирован, или, наконец, возвратится в первоначальное состояние. Что мы должны делать? Если его изолируют вместе со смертниками или в другом корпусе, в подвале (других изоляторов нет), мы не должны заходить в камеры и потребовать, чтобы его водворили обратно в свою камеру.

Все стояли неподвижно и замкнуто. Я видел множество глаз, но они не смотрели на меня и прятались друг от друга. Даже Замятин крутнул головой и щелкнул языком.

— Да, это называется—уравнение со многими неизвестными. Кто предлагает решение? Впрочем, одно решение предложено Угрюмовым. За вами слово, доблестные ветераны. Прения—по боку.

Кто-то робко промямлил:

— Как же так? Дело пахнет кровью... Надо обсудить... Это—не шутка...

Архип поднял руку и получил слово. Пылающий, весь в полете, он крикнул призывно:

— Товарищи, в этот критический момент нельзя рассуждать. О чем мы будем спорить? О том, выступим ли мы на защиту товарища или нет? Разве из вас найдется кто-нибудь, который сказал бы: нет, мы умываем руки— пусть гибнет Прахов? Конечно, наоборот. Тут может быть только одно решение: бороться до конца, даже ценою собственной крови. Я первый буду итти впереди всех. Я—за предложение товарища Угрюмова.

Все были немые, с слепыми лицами и угрюмой тревогой в сдавленных шопотах. Кто-то крикнул рваным голосом:

— Дело ясное, Замятин. Голосуй.

И этот голос вдруг прорвал пленку, которая отделяла их от меня и друг от друга. Все закричали наперебой, сумбурно, проталкиваясь в передние ряды, не слушая никого и пьянея глазами.

— Я не понимаю... Это—безобразие... Позвольте, товарищи... Я требую... Голосуйте!.. Дайте мне слово... К чорту—валяй!.. Голосуй!..

И совсем неожиданно забултыхался около меня Митря и, надрываясь от непослушных и непосильных слов, замахал руками:

— Да за милого брата, за Прахова, я—в огонь и в воду полезу, кишки порву... Зубы буду дробить... Что вы, осина-борона?.. Прахов иди за других,—за нас, чертей,—в пропастину... Прахов и то и се... и волку в зубы, и к кобыле под хвост, а мы ему—на хребтуг... да, мол, лежачего не бьют... В харю за это всякого прокурата... Сейчас Прахова—на веревку, а за ним—меня на веревку... Трусу веруете, галманы... Рваться—так рваться... миром... Что же это, братцы? А? С ума сойду, а не убью души...

Он засморкался и захлопал глазами, стряхивая угарную муть.

— Помощник идет.

Толпа колыхнулась, но сразу же успокоилась. Все, по привычке, сделали вид, что не заметили начальства, Замятин опять оскалил зубы:

— А ну-ка, друзья, мы сейчас сделаем интерпелляцию.

Помощник—тот же, молоденький—подошел с офицерской молодцеватостью и приложил руку в перчатке ко лбу.

— Здравствуйте, господа. У вас, очевидно, собрание. Я—к вашим услугам.

Чисто выбритое лицо его цвело морозным румянцем, и весь он дымился уличной свежестью.

Смешливый мальчишечий зуд, как щекотка, подмывал меня схватить его за нос и поводить по коридору. А Замятин с улыбкой рубахи-парня весело кадыкнул ему:

— Весьма польщены вашей необыкновенной предупредительностью, монсеньор. Хотя знать любопытно, какого рода услуги вы изволите оказать нам.

Помощник улыбался морозным румянцем и весь растворялся в готовность выполнить все наши желания.

— Я, господа, далек от мысли ставить вам на вид то

обстоятельство, что вы устраиваете собрание без присутствия администрации. Я—не формалист. Это будет между нами. Я предлагаю вам свое посредничество.

Кто-то крикнул из задних рядов:

— Лиса—самый опасный зверь: она слишком тонка в обращении и любит посредничать.

Архип подталкивал меня плечом и волновался от нетерпения:

— Говорите, товарищ Угрюмов.

Необычно отчеканивая слова, я спросил крикливо и жестко:

— Нам хотелось бы знать, что случилось с нашим товарищем, старостой Праховым. Отвечайте прямо и открыто.

Помощник конфузливо опустил глаза и улыбнулся. Эта улыбка была тоже опрятная, чистенькая, готовая ко всякому случаю.

— Я ничего вам не могу сказать, господа. Мне ничего не известно.

Я перебил его тем же крикливым голосом:

— Вы лжете. Вы не можете не знать, где он: здесь или вне тюрьмы. Вы, как дежурный, обязаны быть в курсе дела.

Он немного сбледнел, но не нарушил своей молодцеватой выдержки.

— Я, господа, не хочу получать от вас незаслуженных упреков. Если бы мне была известна судьба Прахова, я бы немедленно сообщил вам. Я одного желаю—жить с вами в дружбе и взаимном доверии. Знаю я только одно, что Прахова в тюрьме нет.

Я насмешливо поклонился ему и проговорил с актерской кудреватостью:

— Я не имею смелости, мосье, утруждать вас больше своими вопросами. Ваши обязанности столь тяжелы и почтенны, что мое праздное любопытство усугубляет их трудность и ответственность вашу перед незыблемыми законами... кровавого режима...

Я не кончил, сброшенный с своей позиции взрывом горластого хохота. А Замятин, раздувая ноздри до белизны, отмахнулся от меня в веселой беспомощности.

— Ведь вот какой подлец, а? Государственный у тебя ум, Угрюмов.

Архип стоял около меня, потрясенный, нетюремный, и теребил меня за рукав.

— Но надо же решение... Товарищ Угрюмов... Мы совсем не договорились. Я не могу дальше... С этим шутовством я не могу согласиться...

Мы переглянулись с Замятиным и поняли друг друга: продолжать заседание больше нельзя.

— Ну, товарищи, все—ясно. Расползайся по своим норам. Надо всхрапнуть после обеда. Финис коронат опус.

И Замятин по-военному приложил ладонь к уху и выпалил в лицо помощнику, отрубая каждое слово:

— Честь... имею... кланяться, пенитенциар!..

В глазах у помощника дрогнула растерянная улыбка, но он владел собою с прежней предупредительностью и чопорным достоинством.

Через толпу ползающих по коридору людей мы пошли с Архипом к последней камере. Меня останавливали товарищи и смотрели тревожными, недоуменными глазами.

— Ну, так как же, Угрюмов?.. Ведь вопрос-то остался нерешенным, а? Что же делать?

— Решим по камерам.

— А ведь начальство-то сторожит... Пронюхало, чорт возьми... Знает, что даром не пройдет.

— Вот что, Угрюмов: как бы не промахнуться... Дело не шуточное... Как бы не грохнуть авантюрой...

А иные с озорными глазами шептали заговорщиками:

— Ударим, товарищи... обязательно... Надо пополировать кровь... Сердце чешется: надо что-нибудь выкинуть, а то начинают заедать обывательские будни. Сплетни пошли друг о друге... Ерунда.

Немилович лежал на койке, попрежнему маленький, высохший, но важный в своей сизой бороде. Лицо его окостлявилось и омертвело еще больше, и руки стали длинными, узкими и прозрачными, в синих прожилках.

Архип первый подошел к нему, сел на край койки и любовно погладил ему руку.

Немилович глядел на нас мерцающими глазами, с жаром одержимого в зрачках, и радостно дребезжал смехом.

И смех прежний—рваный, с придыханиями, немного хриплый. В груди у него что-то хрустело, всхлипывало и пищало.

— Вот этот юноша не забывает меня... юноша, полный даров и возможностей... Он—неугасим от внутреннего

огня... хотя может сгореть в некий день даже мгновенно. Мы с вами все ссоримся, Угрюмов... Это—тоже не плохо, но это уже—с другой стороны. Право, я люблю остроту жизни... во всех ее напряженностях...

С обычной своей неласковой насмешкой я отмахнулся от него:

— Давайте, Немилович, не философствовать. Это—скучно и бесполезно. Колокольное ботало называется языком. Неспроста. Люди любят посмеяться над собой.

Архип с упреком взял меня за руку.

— Товарищ Угрюмов, вы тоже философствуете...

Немилович засмеялся и уткнул в меня длинный прозрачный палец.

— Да, да... он тоже философствует... Он безуспешно борется со своими стихиями. Ибо он знает, лукавец, что язык колокола и язык человека, это—благовестие, то-есть та же философия.

Я сделал вид, что не слушаю его, и перебил с тревожной серьезностью:

— У нас опять пахнет событиями, Немилович. Прахова изъяли утром и куда-то увезли. Что-то нехорошо. Придется реагировать.

— Вот и прекрасно... и превосходно...

— Что же прекрасно? События или несчастье с Праховым?

— Это все равно. Несчастье—тоже событие. Жизнь не терпит покоя.

Архип смотрел на него жадными глазами любознательного ученика. Волнуясь, он робко спросил его, как мудрого учителя:

— Товарищ Немилович, мы считаем необходимым предупредить вас и узнать ваше мнение. Нужно ли нам выступать? Одобряете ли вы наше решение—требовать возвращения Прахова в свою камеру, если его изолируют? Не будет ли это напрасная жертва? А столкновение—возможно, и, может быть—сегодня.

Немилович пожимал руку Архипа, улыбался и лепетал, как младенец:

— Превосходно... прекрасно... Не статика, а—динамика. Чем ни больше событий, тем больше организованного опыта... Ибо комплексы восприятий... диалектика энергии жизни...

Я встал и быстро вышел в коридор.

Опять бунт

Случилось это как-то быстро, само собою. Я ходил по камерам и чувствовал, что всюду были натянуты нити—множество нитей, как паутин. Стоило оборвать одну из этих нитей—как грохнул бы взрыв—вой, пыль и звон стекол.

Коридор был пустой, и уже никто не бродил в этот вечер, как это было обычно. Все грудились в нескольких камерах, плотно подпираясь плечами. Говорили вполголоса и ждали. Надвигалась тревога, и в коридорных пустотах темнело предчувствие.

В сумерки, когда еще не зажигали огня, и тени ползали по коридору лохматыми облаками, вздохнула и чавкнула выходная дверь, и вместе с густым туманом ввалилась толпа надзирателей и солдат. Вот этого глухого взрыва дверей и топота ног мы и ждали с мучительным напряжением.

Толкаясь и напирая друг на друга, все хлынули из камер. С разных концов бежали группами и по одному, одни неслись вперегонку, другие задерживались на ходу и останавливались поодаль с любопытством посторонних людей. Я слышал гул голосов позади меня, отдельные визгливые выкрики и чувствовал, что я—один впереди и должен что-то делать, не теряя ни минуты, и не своей силой, а силой, стоящей надо мною и позади меня.

Издали, от двери, потрясая пространство между нами, взвыл утробный бас старшего надзирателя:

— По камерам!.. Марш по камерам сей же минут, я приказываю... Надзиратель, камеры—на запор!..

И вперебой ему веселый голос Прахова прокатился по коридору:

— Товарищи, разойдитесь по камерам. Дело—не так страшно: меня только водворяют в камеру смертников. Это—пока что изоляция, а потом видно будет. Разойдитесь и не устраивайте скандала.

И без волнения, с силою, которую я знал только в исключительные минуты, когда мысли четки и упруги, а назад уже нет отступления, я крикнул всею грудью:

— Товарищи, мы не зайдем в камеры. Мы требуем, чтобы Прахов был освобожден. Мы не допустим, чтобы он был изолирован от нас и водворен к смертникам.

Напор толпы и вой голосов смяли последние мои слова.

Люди задыхались, давили меня, толкали вперед и оглушительно кричали, не поймешь что. Куча надзирателей плотным кольцом сжимали Прахова и дрожащими руками вынимали огромные револьверы. Солдаты защелкали затворами винтовок.

Архип кричал неслыханным голосом, весь устремленный вперед, и я не знаю, почему он не бежал к Прахову, когда ноги его не стояли на месте.

— Долой палачей!.. Вырвем Прахова из рук заплечников... Умрем, а не допустим свирепой расправы над нашим товарищем... Долой тюремщиков и висельников!..

Полыхали горячие волны из толпы позади меня. Она лежала на моих плечах судорожной массой и рвалась вперед, но не могла двинуться с места. Эти душные волны колыхали меня, толкали вперед, и я чувствовал себя легким, освобожденным от одежды, от кандалов, от стен и сводов, точно я был вынесен на простор городских улиц и иду впереди многотысячной массы, пожирающей улицы своей махиной, потрясающей солнце и фасады домов. А впереди, в тупике, маленькая растерянная кучка черных теней, которая будет сейчас раздавлена о камни.

Нужно было сдержать толпу и поставить ее на место. Если она прорвет мой упор—она сломит меня и ринется вперед. Будет свалка, бешенство, кровь, огонь и изуродованные трупы. Я повернулся назад и расставил руки.

— Товарищи... стой, товарищи!.. Дайте мне вести переговоры...

И я видел только искаженные злобой и яростью лица—массу нечеловеческих лиц. Они напирали на меня, были глухи к моим крикам, и я не отражался в их глазах: они были слепы.

Замятин горланил около меня с обычным размашистым добродушием:

— Отпустите Прахова, друзья! Дело говорю. На кой чорт он нам нужен? А мы возьмем его под гарантию: лучше нас никто ухаживать за ним не будет. Хорошие слова говорю, приятели.

И, покрывая рев и грохот стен, опять рявкнул солдатской командой бас старшего надзирателя:

— По камерам, сукины дети, шпана, дармоеды!.. Всех перестреляю, мерзавцев... Солдаты—на прицел!..

Под рев и гул коридорных пустот забрякали железом болты и запоры, толпа черных людей рванулась к стене, и Прахов, сутулясь, исчез за дверью камеры смерт-

ников. Опять забрякало железо запоров, и надзиратели с револьверами в руках и солдаты с винтовками на-перевес запрыгали к нам с рычаньем и матом. Меня рвануло назад—не эта кучка тюремной стражи, а обратная волна отхлынувших товарищей. Архип стоял впереди меня и разрывал рубашку на груди. Он уже охрип и кричал один, как безумный:

— Стреляйте!.. Бейте!.. Вот моя грудь—стреляйте!.. Вот моя грудь!..

Он пошел навстречу надзирателям с высоко поднятой крылатой головой, немного шатаясь и выпирая голую грудь.

Позади меня была уже пустота и торопливый топот ног. Я оглянулся. Люди разбегались в разные стороны в паническом страхе. Они прижимались к стенам, терлись о штукатурку, прятались за выступами простенков и поодиночке исчезали в камерах. И, как вождь, который остался один, я вдруг ощутил гаденькую дрожь в ногах и руках и холодную тошнотную струйку в животе. И как-то помимо воли у меня вырвался запоздалый крик:

— Товарищи! По камерам!..

И будто каждый ждал этого крика: все, как крысы, забегали по коридору, съежившись, падая, ползая на четвереньках. Сразу все стало пусто—сузились стены, потолок опустился, и куда-то далеко провалилась черная узкая воронка коридора.

Надзиратели стояли с револьверами в руках, а солдаты—с винтовками. Старший надзиратель, опутанный ремнями, мотая бородой, хрипел в злобной радости:

— Ах вы, сволочь поганая!.. Барбосы!.. Я вас съем и кости раскрошу, мерзавцы... Трусы!.. Ишь, хотели показать свою храбрость, дармоеды!.. Я еще вам покажу, какая вам нужна баня... я еще вам покажу, крамола паршивая...

Архип стоял в прежней позе, с высоко поднятой головой и рвал рубашку последними, застывающими движениями. Замятин, перезванивая кандалами, подошел к нему и взял его под руку.

— Ну-ка, пойдем, милый друг. Отдохни немного, голубчик. Шагай!..

Старший надзиратель точно увидел их впервые. Он шарахнулся к ним и замахнулся револьвером. Я успел подбежать к нему и стал между ним и Архипом.

— Убери руки, мерзавец! Не смей бить.

Он гекнул, как дровосек, и со всего размаху ударил меня по плечу. Я не почувствовал боли, а только—мгновенный потрясающий вздох всего тела, точно меня пронизала молния. Потом взорвалось сердце и обожгло кровью руку и грудь. Мне стало дурно. Шатаясь, я пошел по коридору, но натолкнулся на стену. Едва владея собой, я добрался до своей камеры и упал на койку.

На другой день

Утром камеры открылись в тишине и головной боли. У всех были измятые, водянковые лица, тусклые, припухшие глаза. Они ослизло блуждали по полу, по стенам и окнам коридора и уползали друг от друга. И, будто нарочно, день был потухший—дымный и грязный: небо тяжело и густо спускалось до самых крыш тюрьмы бурым арестантским сукном. И снег на дворе был тоже грязный и льдистый, а воздух—мутный и на полях осаждался сизыми хлопьями инея. Голоса за забором, в соседних дворах, гнусаво глохли и казались очень далекими.

Мы встречались неохотно, избегали разговоров, замыкались в себе и прятали головы в воротниках бушлатов. А когда говорили о том, что было вчера,—говорили натужно и коверкали лица брюзгливой усмешкой.

Только Замятин, как ни в чем не бывало, бродил по коридору и по камерам и, закинув голову за спину, выпирая кадык, орал песни и будоражил всех неунывающим горлопаном:

— Да что вы, чорт вас подери?.. Монастырь у нас, что ли? Или психиатрическая больница? Хористы, в коридор!.. Шагай с достоинством и высоко поднятым забралом. Но отнюдь не с тем напором и героизмом, который был проявлен вчера... Ибо песня любит спокойное величие и коллективный согласованный ритм. Мы учимся на собственных ошибках, друзья, и наши страдания и кровь—залог великих радостей и побед...

Он шагал один, оторванный от всех, размахивал руками и ругался со смаком и вздохами молотобойца. К полудню он всем надоел до изнеможения, и из камер завыли злые охрипшие крики:

— Замолчи, прохвост, каналья!.. Морду побью!..

— Да заткните же глотку этому гнусному шелопаю!..

— Дать ему по шее, идиоту и горлодеру!..

— Загибай ему артелью салазки, чорту долговязому... Палач, деспот, душитель!..

А он хохотал в диком восторге, захлебывался и горланил, как хулиган. И я удивлялся, как он сам может выносить всю эту ералашь и не задохнется от переутомления.

Пришел ко мне в камеру Архип и сидел вялый и больной. В глазах его, чистых, как вода, мутно струились слезы и тоска. Он был в той же рубахе, которая была разорвана накануне. На груди она трепыхалась грязными тряпками вплоть до живота. Он хватался за голову и грудь и смотрел на меня с лихорадочным криком в глазах.

— Товарищ Угрюмов, что ж это такое? Значит, все пропало? Значит, мы на большее не способны? Я ничего не понимаю и никак не могу согласиться... Что же делать, товарищ Угрюмов?

Он раздражал меня и своим видом и жалобами. Мне было стыдно смотреть на него: растерзанный и опустошенный, он еще дышал вчерашними событиями. То, что скрывали другие, он безобразно выворачивал наружу.

— Что ж, Архип... Идите к Немиловичу—он вас утешит. Он вам скажет, что вся вчерашняя трагикомедия—чудесная мистерия.

— Я уже был у него. Он—счастлив и горит восторгом. Я уже не могу к нему пойти: я боюсь оскорбить его, а я этого не хочу.

— Ага, очень рад. Ведь вы были влюблены в него, как барышня...

— Не будем говорить о нем, товарищ Угрюмов. Он скоро умрет. Мне очень жаль его: он совершенно замучен заточением.

Не сдерживая себя, я едко усмехнулся, наслаждаясь своей злостью.

— Последний отпрыск русской интеллигенции, блаженной и развинченной.

Архип встал, и лицо его исказилось судорогами.

— Я больше не хочу вас слушать. Вы завидуете ему. Вы не любите его потому, что уступаете ему по всем пунктам. Что вы вчера сделали? Захотели быть вождем и—срезались. Я не желаю с вами иметь дело. Кончено.

— Пожалуйста! Всякий мальчишка еще будет мне указывать. Подумаешь! Разорвал на себе рубашку в припадке истерики и думает, что совершил героический подвиг. Молокосос!

Он в ужасе попятился от меня к двери, схватился обеими руками за голову, и лицо его посерело, как у трупа.

— Что такое? Как вы смеете, товарищ Угрюмов!.. Я вынесу это на общее собрание. Я не могу этого перенести.

— Сколько угодно, пожалуйста. Плевать я хотел... судите... Шпана и трусы!.. К чортовой матери!..

Он выбежал разбитый, с паническим страхом в глазах, а я лег на койку и, остывая, чувствовал, что я отравлен, что я—другой человек, и этого нового в себе человека не узнаю и презираю.

Митря тоже лежал на койке, вздыхал и мучился в тоске. Он не вставал к утреннему чаю, барахтался в одеялке, сопел и шмурыгал носом, как дурачок.

В тот момент, когда Архип вышел из камеры, он зашевелился, сел на койке и посмотрел на меня тифозными глазами. Отвернулся, опять посмотрел и плюнул. Потом вздохнул и во вздохе выворотил многословную матершину. Опять лег и промычал в потолок:

— Шкура ты и шантрапа. Башкой бы тебя в парашу, осина-борона...

— Ты что, Митря, обалдел, что ли, после вчерашнего?

— Ботало ты коровье, мызгун и стерва. Обидел парнишку, осина-борона. За что? Жулики вы и мордоплюи. Городите вы прясло не слегами, а навозом. Бейте мужика в лоб и в зад—мало еще били. Ну, дай срок—он, брат, свое возьмет: учухаете, какой у него крепкий лоб, а от тяжелого зада ёкнете...

Он тянул свои слова назойливо, угрюмо, причмокивал, глотал слюну и рычал носом.

Я вышел из камеры, а меня провожали злые глаза с тусклой животной затаенностью. Эти глаза не забывают обид и несут их в себе до самой могилы.

Вечером опять пришел ко мне Архип. Он отдохнул, надел другую рубаху, причесал волосы, и глаза его опять стали прозрачные и чистые, как вода. Он подошел ко мне, смущенный и теплый.

— Товарищ Угрюмов, мы должны забыть, что у нас было утром. Если я вел себя гнусно—простите. Я был несправедлив к вам. Ведь я еще ничего не сделал для революции, а вы идете на каторгу.

Я засмеялся, чтобы скрыть свое волнение, и потряс ему руку.

— Все вышло глупо, Архип. Забудем. Баста!

Он сразу расцвел и загорелся и стал опять прежним, бодрым и радостным.

— Сегодня ночью дежурит Мизинчик. Я уже договорился с ним.

И взглянул на меня исподлобья с видом заговорщика.

— Давайте с вами—на ты. Ведь мы же родные по духу.

И мы опять крепко потрясли друг другу руки.

Мне было хорошо с ним: он весь был на виду и прозрачен, как его глаза. И не было в нем ни хитрости, ни скрытой задней мысли. Сердце мое волновалось от нежности к нему.

— Мизинчик поможет, товарищ Угрюмов. После проверки я перейду на время в твою камеру. А потом вместе с тобой пойдем к Прахову. К волчку.

— А ты знаешь, Архип, что Прахов—действительно не Прахов, а—Чугунов. Ты знаешь, что ему грозит смертная казнь?

— Я давно догадывался. Это—странно. Мне все время сверлило гвоздем, что Прахов не может быть обыкновенным рядовым борцом, что он несет в себе больше, чем многие из нас. Меня сейчас это не удивляет: я ожидал этого. Не знаю почему, но мне было обидно и досадно, что он выдает себя за ничтожную пешку.

— Ты не допускаешь мысли, Архип, что Прахова кто-то выдал?

Он испуганно вздрогнул и выпрямился. Глаза его стали огромными от ужаса.

— Как? Неужели среди нас есть шпионы и провокаторы? Ведь это же невозможно.

— Почему невозможно? Ничего удивительного нет. Я, например, недавно получил записку с воли, а в ней сказано, что девушка, которую я люблю, серьезно заподозрена в провокации.

Он сидел напротив меня, на койке Прахова, и не мог оторвать от меня глаз, осовевших от ужаса.

— Я не могу этого понять. Точно пропасть. С этим нельзя жить. Сознанье, что любимая девушка... Как вы переносите это, товарищ Угрюмов?

...Ольга. Где она теперь, и что такое Ольга? У меня только тоска и неутолимая боль. Ольги нет, и где она—неизвестно, но боль оставалась, и рана в душе неизлечима. Она глубока, и боль ее похожа на тихие, неощутимые волны. Я живу только надеждой на неожиданную

радостную весть, и душевная язва скрыта под покровами этой надежды.

Мне хотелось рассказать Архипу об Ольге и моей тоске, но я испугался: нельзя тревожить себя в эту минуту—я могу выйти из строя и жить только своею болью. Не сейчас: это придет само собою—все должны совершить свой законченный круг.

— Так вот, Архип, насчет Прахова. Его, кажется, выдал Дынников. Не думаю, чтобы это было обдуманно. Дынников—в белой горячке, и возможно—бредовая болтовня... У них—сложная и нелепая история в личных отношениях.

И я рассказал ему то, что слышал от Прахова в дни голодовки.

Он решительно и упруго положил обе руки на стол, и в зрачках у него вспыхнули капельки восторга.

— Дынников—хороший парень. Исключительная натура. Он погибнет: ему уже нет спасенья. А Наташу страшно жаль: вероятно, чудесная женщина. Но как может революционерка дойти до такой безнадежности? Тут что-то от дынниковщины...

Митря сидел с ногами на койке и глядел на нас нелюдимо, с любопытством случайного человека. Архип стряхнул лучистые капельки с зрачков и украдкой, вприщурку, стал общупывать Митрю с головы до босых ног. Мы встретились взглядами, и зрачки у него стали сжиматься и разжиматься. Язык глаз в тюрьме так же ясен, как язык слов, и я увидел в глазах Архипа вопрос: а вдруг этот предаст?

Митря усмехнулся с угрюмой враждой и рыхло свалился на койку.

— Нахлобучат вам урыльники на башку, шерстобиты. Опять масло запахтали, осина-борона. Не дрочите глядевы—не из робких. Ишь, дудоры!..

Архип по-мальчишечьи трепанул волосами.

— Что такое—дудоры?.. Чудак! Мы—дудоры, а ты не такой же дудор?

— Вы только задом умеете крутить, осина-борона. Ни одному вашему кряку веры нет. Вы меня не шевельте: мое место—лежачее. Хвостом заденете—хвост отгрызу. Знаю я, чем вы воняете.

Архип вскочил с койки и озлился. Он поднял плечи к самым ушам и весь напыжился, как петух перед боем.

— Это еще что такое за лягавый пес? Не вздумаешь

ли ты еще брехать на нас по начальству? Смотри, брат, тут умеют пришивать на все четыре гвоздя.

Митря медленно поднялся на локте и долго по-бычьи выворачивал белки на меня и на Архипа.

— Ых, вы, сороки-белобоки (и—мат, непосильный для его языка)... Да ежели вы... Да я вам сопатки наквашу в коровью ластицу... Кубышки!..

Я дружелюбно засмеялся и взял Архипа за руку.

— Не надо, Архип, перестань. Митря—парень верный и стоит за всех горой. Он тоже страдает за правое дело и всегда—за артель.

Митря размяк и угрюмо ухмыльнулся.

— Мели, мельник, размолом, а отруби—дома, через сито. Дудоры!..

Будто по уговору, мы с Архипом вышли из камеры.

В коридоре было пусто. Даже Замятин замер в молчании: должно быть, устал от рева и теперь спал крепким сном здорового человека, не отравленного думами.

Мизинчик бродил по коридору, улюлюкал ключами и мычал в бороду дьявольским басом. Он прислушивался только к своему голосу: сгорбился, отсырел и голову вдавил в плечи. Вероятно, он плавал в своей песне, и она грохотала у него внутри, потрясая сумбурные глубины его души, как вой ветра в глухую ночь осенней непогоды. Мы притаились и стали прислушиваться. Мы никогда не слышали, чтобы Мизинчик пел наедине с собою в наших казематах, и от одного того, что он зарычал мелодию и ушел в другой, внезапный для него, мир,—мы, пораженные, остановились и прилипли к стене. Он выводил «Похоронный марш».

— Ты слышишь? Что это значит?

— А это значит, Архип, что и для тюремного стража не проходит даром дыхание революции. Эти моменты надо ценить. Не будем ему мешать.

Но Мизинчик уже увидел нас и потух. Он круто повернулся и побрел вразвалку в ночную тьму коридора.

— Ну, так о чем же ты сговорился с Мизинчиком, Архип?.. Ах да, насчет свидания с Праховым.

— Но я не сказал самого главного, товарищ Угрюмов.

— А ну-ка... Только, пожалуйста, без утопий.

— Почему—утопия?.. У нас почему-то всякое смелое дело считается утопией. Для трусов каждый шаг—утопия.

— Не считаешь ли ты и меня трусом?

— Не говорите мне никогда этого паршивого слова— утопия: я его терпеть не могу.

Он оборвал себя и быстро наклонился к моему уху.

— Прахову необходимо немедленно бежать... бежать, не теряя ни одного дня, иначе он погиб. Они расправляются с такими быстро и незаметно. Ты знаешь, где они устраивают полевые суды? В тюремной церкви, при свечах, и стол у них—на амвоне. Это мне сказал Мизинчик.

И потом вслух сказал почему-то необычайно громко:

— Это ты считаешь утопией?

Вместо ответа я остановился, и мы обменялись взглядами: я—изумленным, он—торжествующим и радостным. Эта мысль уже волновала меня целый день, но я старался заглушить ее хозяйственными заботами по коммуне: она казалась мне несбыточной, безумной и праздной.

Она и сейчас взволновала меня в словах Архипа, но и сейчас она показалась мне шальной, а потому и неосуществимой.

— Имей в виду, Архип, что это—невыполнимо, хотя это и не утопия. Не забудь, что мы сидим за пятью концентрическими стенами. Если бы даже была удача в центре, остальные кольца оказались бы ловушкой.

Он сразу вспыхнул, заискрился и нервно заторопился.

— Нет, нет, товарищ Угрюмов. Ты послушай... Я очень обдумал... Это так просто... Ты послушай...

— Больше ни слова, Архип: идет Мизинчик. Об этом не говорят ни вслух, ни шопотом, а особенно в коридоре. Молчок. Пойдем—сейчас будет поверка.

Я был бессилен перед его постоянным горением. Он был всегда праздничный, непотухающий, всегда с новыми беспокойными мыслями. Он врос в меня, незаметно и быстро. Мне было тоскливо и грустно, когда он долго не являлся ко мне. В эти минуты я бродил по коридору, по камерам и искал его с бессознательным нетерпением. А он был непоседа: никогда не оставался в своей камере. Целый день бегал из одной камеры в другую и говорил с каждым по нескольку раз, с одинаковым возбуждением и неутомимым любопытством ко всем этим людям и их делам. Я знал немногих из этих людей, со многими не сказал ни одного слова, и они для меня были далекие, тусклые, слишком обыкновенные, как тысячи тех маленьких жизней, которые прошли мимо меня за всю мою

жизнь, не оставив следа. Их—много, попавших сюда случайно и по делам их. Придет час—их отправят в неизвестные дали, и я их забуду в тот же день, как забывал многих, и лица их навсегда потухнут в моей памяти. А он, Архип, знает уже всех—знает, чем живет каждый из этих семидесяти человек во всех тринадцати камерах, знает их прошлое, знает, какие они сказки творят о будущем.

И я видел, что он всем был близок, и все были рады общению с ним и улыбались, когда он смотрел им в глаза.

Свидание у волчка

Митря похрапывал сытно и безмятежно. Архип лежал на койке Прахова и никак не мог успокоиться. Он рассказывал о своей матери—рассказывал долго, и ресницы у него искрились на мутном огне. Мать уже стара и работает до сих пор: стирает белье на чужих. Сестра учится на швейку.

— Одного я не могу изжить, товарищ Угрюмов. Сестра пропадет. Но не это... А вот—руки матери. Знаешь, они у ней всегда в язвах—простираны. И такие выносливые. Смотришь и чувствуешь, что эти руки четверть твоей жизни носили тебя. Сколько она перелила в тебя крови, и сколько отдано силы! Ничто—ни глаза, ни лицо, а вот эти руки... Были моменты,—особенно, когда я сидел первые месяцы в тюрьме,—я рыдал целые ночи от этих рук. И в тюрьме я впервые постиг, что за эти руки я должен отдать всего себя революции... самой беспощадной борьбе... и с радостью умереть...

Я слушал его, и эти грустные слова волновались в груди неумирающей болью воспоминаний: у моей матери тоже были замученные руки, и я сам плакал когда-то от жалости к этим материнским рукам.

Он был полон образами ранней юности: они еще трепетали неостывшими впечатлениями—подпольная работа, конспиративные собрания молодежи в глухие ночи где-то в развалинах, на краю города, или в лесу, в праздничный день, рабочие кружки, где он был пропагандистом, пылким и страстным, но беспомощным и наивным...

Потом мечтал о социализме. Как ребенок, спрашивал меня, как я представляю социализм. Я отвечал ему сухо и бледно—книжными словами. А он слушал внимательно,

но глаза его думали свое. Не выдержал, заволновался и смял мои слова.

— Нет. По-моему, не то... Что-то слишком похоже на алгебраическую формулу. Я думаю не так. Ты понимаешь? Это—невиданная и неизведанная красота. Это—сказка, полная чудес. Но эта сказка—не сказка. Ведь будущее всегда похоже на сказку, потому что тогда не будет того, что есть сейчас, а будет новое, чего не видел никто. Все это мне представляется хрустальным, воздушным: прозрачные дворцы, солнечный океан, люди реют в воздухе, как птицы, облака подчиняются воле человека, всюду—золотой и серебряный блеск машин. И нет тюрем, нет оград, заборов и каменных стен, нет горя и несчастных, натруженных рук. Нет, это невозможно передать словами. А наша эпоха будет казаться проклятьем и ужасом.

— Ты—мечтатель, Архип. Революционеру вредно мечтать: наша энергия должна быть направлена не на вымыслы, а на практическую работу.

Он вскочил с койки, и лицо его стало суровым и гневным.

— Неправда. Как ты не понимаешь, что революционер только и силен своей мечтой. Грош цена тому революционеру, который вязнет в будничных лозунгах, как в болоте. Энтузиазм революционера, это—мечта. Отсюда—герои, вожди и великаны мысли.

Я любовался им и чувствовал, что у меня у самого глаза наливаются восторгом и радостью.

Мизинчик тихо отпер нам дверь, и мы вышли в одних чулках. Я обеими руками держал кандалы. А Мизинчик прятал глаза под шерстью папахи и улыбался одной бородой.

— Удавят меня вместе с вами, крамольники... Чую, до добра не дойти.

И мне было смешно: от кого он скрывает свои поступки? Зачем эти воровские вылазки? Ведь Мизинчик—один на всю ночь в этом коридоре. Может быть, он прячется от самого себя, а может быть, хочет обмануть тишину?

В волчке смеялся глаз Прахова. А я дрожал от радости и любви к нему: точно мы не видались уже много дней, и мне хочется сказать ему такие слова, которые не умещаются в груди—они кипят и рвут сердце. Это были трогательные и бодрые слова: он, Прахов, нам родной, его нельзя оторвать от нас, и мы пойдем ради него на смерть, на голод, на побоище, на всякие жертвы. Но слова гро-

моздились в горле, мешали дышать, а вздоха одного было мало, чтобы выдержать их сумбурный напор. И слова эти не сказались, а только растеклись дрожью по нервам.

— Как видишь, Угрюмов, я опять воплотился в прежнюю шкуру. Если меня не отправят немедленно в мои родные палестины, то с удовольствием прикокнут в этих пещерах. Такое дело. Ну, как? Камеры живут, как жили, как будто ничего не случилось. Теперь оппозиции не с кем драться.

А я торопливо шептал, перебивая его слова:

— Я пришел увидеть тебя, Прахов, и спросить, что делать. Надо делать что-то немедленно. Не партизански, а организованно. Давай быстро обсудим.

К моей щеке прижался горячей щекою Архип. Он тоже струился мелкой нервной дрожью.

— Товарищ Прахов... ну, пусть Чугунов, но вы для меня пока Прахов... Не в этом дело... Мы только хотели предложить вам... надо воспользоваться временем...

— Ну, ну, хорошо... Я уже по глазам вижу, что вы хотите предложить. Идите, ребята, обратно: не подведите Мизинчика.

Но Архип, не слушая его, торопливо шептал и задыхался от волнения:

— Нет, вы слушайте... План очень прост и легко осуществим... Во время поверки... камера ваша открывается... и вы...

Прахов строго цыкнул на него, и глаз его стал большой, круглый и злой. Затененный нашими лицами, он заполнял весь волчок и разбухал, как в лупе.

— Вы с ума сошли, черти. Идите по камерам!

Потом вдруг запнулся и ласково засмеялся.

— Ну, как там Митря? Он—хороший парень. Ты его не обижай, Угрюмов. Нас здесь трое. Ожидаем очереди, кому надлежит лететь в небесные пространства. Вероятно, придется быть званым и избранным. На пир к сатане. Придется надевать белый фрак и серый галстук. Говорят, там не принимают без этих причиндалов.

И ни боязни, ни дрожи в голосе не было у Прахова: каждое его слово было шуткой, грубоватой и немного наивной.

— Протяни палец, молодой товарищ: я тебе пожму его за твой героизм. Ты хорошо держал себя. Из тебя выйдет матерой боец. Голыми руками тебя не возьмешь. Молодчина!

Архип радостно просунул руку в волчок и залепетал, как маленький:

— Товарищ Прахов... для меня жизнь—только в революции... Я всего отдал себя... и только для борьбы...

— Правильно. Валяй и дальше в этом роде. Главное, не унывай и ни на минуту не теряй веры в победу рабочего класса. Время теперь—подлое, предательское, трусливое. Трудное время и ответственное. Нужны большие силы, чтобы пережить его и не скопытиться. Пусть бьют тебя, травят, распинают, но не залезай в подворотню. Подворотня, это—скотский двор, где ничего нет, кроме навоза и свиного хрюканья.

Архип прижался ко мне, вцепившись пальцами в плечо, часто глотал слюну и вздрагивал нутром. Мне показалось, что он плачет.

Не знаю, почему—может быть, нужно было прорвать слезную пленку в груди,—я сказал неожиданно и совсем некстати

— Прахов, ты помнишь ту записку? Она—об Ольге. Ты читал ее? Муха, это—Ольга. Я не могу этого допустить... и у меня все спуталось...

— Ну, ну... Что поделаешь—зыбучее время. Не знаю, что тебе сказать. Я тогда сбрехнул сдуру. Ты не придавай значения и держись крепко. Впереди—всегда цель и надежда. А стал на месте—значит, потянет назад, и тут ты сгибнешь, как сукин сын. Знай, брат, что под ногами—все-таки твердая почва. Только не теряй головы.

Он оборвал себя и оглянулся. Из-за его плеча я увидел камеру в оранжевом полусумраке. На койках сидели два парня в нижнем белье и, скрючившись, играли своими кандалами.

Прахов усмехнулся и прошептал едва слышно:

— Работа—на всю ночь. Учатся проделывать трудный фокус.

Сначала я не мог разобрать, что они делали, и только в последний момент я увидел, как у одного из них вспыхнули тусклыми пятнами руки и ноги. Парень, в путанных пепельных волосах, с пушистыми щеками и подбородком, разгибал ступню и старался вытянуть ее в одну линию с голенью. Он учился снимать кандалы.

— Ну, идите, ребята. Имейте в виду, что я не хочу итти на виселицу. И я не пойду. Если потребуется ваша помощь, я скажу вам. Я уже готов... не к смерти, а— к жизни... Это не так легко в моем положении.

Архип опять рванулся к волчку и зашептал горячо и страстно:

— Товарищ Прахов, не лишайте нас возможности помочь вам хотя бы в мелочах. Если что... это помните... я буду с вами...

Обалдевший от тревоги, около нас стоял Мизинчик и теребил за рукава и того и другого.

Побег

Перед поверкой камеры запирали за полчаса, а в семь часов входил помощник с надзирателем, который вступал в ночное дежурство. Открывались камеры по порядку, с № 1 по № 13. Первым входил помощник, а за ним— надзиратели. Они безмолвно стояли посредине камеры не больше секунды, внимательно щупали глазами заключенных, обстановку, стены и—уходили. Звякали запоры, и камера захлопывалась на целую ночь, до утренней поверки. Коридор гремел железом и вздыхал хриплыми шагами. Так было каждый вечер, когда вешались полупудовые замки на двери; так было каждое утро, когда эти замки, как отрубленные головы, ржаво разевали пустые рты.

В этот вечер я лежал на койке и дрожал в лихорадке. В коридоре застойно глохла усталая тишина, а мне казалось, что стены тюрьмы потрясаются от гула, и воздух клубится в порывах и вихрях. Митря успокоенно и сонно попыхивал своей цыгаркой, задумчиво шмыгал носом и мычал от зевоты. И этот дремотный вой делал всё простым и тяжелым.

Я чувствовал только самого себя,—не себя, а сердце: проходили через него горячими всплесками волны, и я качался на них—взлетал и падал, замирая.

Ждал я только этой последней минуты,—ждал, как страшного удара, как взрыва, который разнесет тюрьму в брызги и пыль,—ждал, как последнего часа моей жизни, который несет мне что-то большее, чем смерть. Может быть, то же самое переживают приговоренные к казни; может быть, то же переживал бы человек, если бы он сознательно ждал часа, когда он будет выходить из утробы матери.

Голова—пустая; безумная муть заливает клеточки мозга, и уродливые, рваные образы кружатся и летят, кувыркаются и реют в фосфорическом хаосе.

Впрочем, Ольга... Эта боль уже—глубоко и меня не тревожит. Меня уже ничто не тревожит: прошлое умерло и не воскреснет, и будущее сгущено только в одну точку—в эти непереносные минуты, горящие копотным язычком пламени тюремной лампочки в стеклянном пузырьке с отпечатками пальцев. Вот пройдет еще несколько этих огненных мгновений, и будущее взорвется грохотом железа и звериной борьбой за жизнь. Свобода! Свобода! Она рождается из крови и рычит оскалом зубов. Надо пройти через ужас, чтобы уметь распоряжаться жизнью и увидеть ее красоту.

Как только запирали камеры, Митря сейчас же ложился на койку и расслабленно замирал в дремоте. Он спал много и жадно: запертая камера для него была тихой, уютной колыбелью. А сейчас вот он не спал: возился, вздыхал и чесался в тоске. Может быть, воздух был уже отравлен испарениями нашей крови; может быть, наши нервные узлы заряжали своими токами всю эту массу нервных сплетений, и все переживали в эти миги странную тоску тревожных предчувствий.

Эту тайну знали только мы—я и Архип.

Митря поднял над собою руки и бросил их за голову.

— И что делают, что делают с рабочим человеком!.. До чего сдавили, до чего опустошили!.. Куда пойдешь, кому скажешь?.. Что получилось, осина-борона: конь—без телеги, вожжа—без коня, мельница—без воды... Вот оно как, братцы милые, друзья и сродники!

И от этого мычания Митри все опять стало обычным и устойчивым. Что, если эти минуты пройдут так же дремотно и покорно, как всегда? Я не знаю, что со мною будет: может быть, припадок; может быть, я ударю Митрю, а может быть, просто закоченею на длинный ряд каменных дней.

Я не мог уже лежать и ждать в терпеливом молчании. Это—острая грань, когда жизнь ломается, как палка, а следующий час уже будет иным, и ты будешь в неиспытанном пересечении с миром.

Я прошелся по камере, бессильный в борьбе со своим сердцем.

— Митря, вставай, дорогой друг. Сыграем с тобою в шашки. Ломает тебя какая-то нелегкая.

— Да как же, милый человек! Раздумался о домашности, и прямо, скажи на милость, душа—сирота. Что делают, что делают с нашим братом!.. Сколь трудящего

люда гниет по острогам! Сколь сгибло под кнутом и под пулей! Сколь удавлено и замучено!.. Ай-ай-ай!..

— А ты забыл, как о тебе здесь заботятся? И угол, и харч, и работой не утруждают...

— Эх, осина-борона! Память у человека, как соль: ее жуешь вместе с хлебом. А все же из брюха она идет не в парашу, а в кровь. Растревожь кровь, она сейчас тебе—в голову, и память тогда дюже соленая. А теперь вот места не нахожу себе: все о Прахове думаю, о родном человеке. И за что пропадает его отчаянная башка?

— Да, брат, Прахова скоро повесят. Может быть, этой ночью. Устроят полевой суд, и оттуда—с арканом на шее на перекладину.

Он сидел передо мною около стола, и лицо его дергалось в младенческом изумлении и ужасе. Расставлял хлебные шарики на шахматной дощечке и не видел их: они рассыпались без всякого порядка—и на белых и на черных квадратах,—а он мешал их дрожащими пальцами, как глупенький. Вздрагивала челюсть, и глаза кружились в слезах.

Я боролся с собою: сказать ему или остаться немым, чтобы оглушить его через несколько минут?

— Вот что, Митря... Только ни звука—молчи, как могила. Хочешь, мы устроим побег Прахову?

Он вздрогнул, сбледнел, и лицо помертвело от внезапного удара. Вероятно, такое лицо у него бывало во время ослепляющей грозы, когда гром глушил его и валил с ног. Потом я вдруг заметил, что он стал наливаться кровью, выпрямлялся, рос и весь засветился из глубины. Рубашка прыгала на груди, и на висках надулись жилы. Он встал и задохнулся от крика.

Я сделал скучное лицо и зевнул.

— Ну, не дури, Митря. Садись, расставляй шашки. Я пошутил.

Он испугался и сразу сел в беззащитной растерянности. Потом опять рванулся с табуретки и замахнулся, слепой от ярости.

— Я тебе морду побью, собака, прелая гадина!..

Я схватил его за плечи и тряхнул изо всей силы.

— Дикарь! Иди на свое место и ложись спать. Чучело!

Он долго смотрел на меня слепыми глазами, порывался что-то сделать, что-то крикнуть из самого сердца, но не мог. Потом обмяк и сырым, неустойчивым шагом поплелся к своей койке.

Вздохнула выходная дверь и глухо тяпнула, как топор.

Шаги принесли снег со двора, и подошвы заскрипели морозом.

Мизинчик гремел ключами и бормотал рапорт, а вперебой ему, на ходу, лаял надорванный голос Дынникова:

— Ну, отверзай свои хляби, Мизинчик. Камера № 1— рыцари пеньковой подвязки. Шире двери—надо с ними побеседовать. Давно не видался. Шагай гамузом.

Голос его был трезвый, но ломался истерикой.

Грохот замка и задвижек оглушил меня, и сквозь визг крови в ушах я услышал всхлипывающий вскрик Дынникова:

— Ты уже здесь?.. Уже—не Прахов, а Чугунов?.. Поздравляю!..

Потом все затихло. Мне показалось, что я теряю сознание. Было мгновение, когда я уже не владел собою, и из горла уже рвался крик:

— Прахов! Не теряй ни минуты...

И сразу же по коридору шарахнулись какие-то огромные тени, глухо застонали, забились и растаяли. Где-то далеко крякали, задыхались люди, точно боролись с обычным смаком, переплетаясь мускулами. И не было тревоги в коридоре: камеры успокоенно рокотали запертыми голосами, и никто не знал, что происходит в камере № 1 и какие события обрушатся на наш застывший мир через несколько секунд. Где-то грустно пели два голоса: «Де ты бродышь... де ты бродышь, моя доля»... Где-то смеялись.

Я стоял у волчка и прислушивался с затаенным дыханием. Митря лежал на койке неподвижно и сонно: его тоже не коснулось дыхание тревоги. А я точно вынырнул из мутного омута: на душе стало ясно и тихо, и мысли были четки, неторопливы и прозрачны.

А потом все сразу вздрогнуло и колыхнулось. Почудилось, что даже в лампочке затрепыхался язычок пламечи, точно от порыва ветра.

Голос Прахова, необычно жесткий и сверлящий и необычайно веселый, пропел по коридору, как команда:

— Товарищи, сохраняйте спокойствие и тишину! Заткните глотки, а копыта—на место. Мы оставляем тюрьму. Кто с нами, выходи. Сейчас пройдет товарищ с ключами. Но условие: выбор сделаю я. Остальные будут оставлены на замке. Большой риск—не скрываю. Провалим-

ся—петля, а кто не будет мне подчиняться—застрелю без разговоров.

Около меня толкался и царапался к волчку Митря.

— Пусти, чорт, морда... осина-борона!.. Сопатку побью... Уйди!..

И вдруг завыл по-собачьи:

— Прахо-ов... миляга!.. Али забыл?.. Прахов!..

В волчке забултыхалась горбатая тень, и меня оглушило железом. Распахнулась дверь, и тень исчезла, а где-то рядом опять звякнуло железо.

Митря выбежал из камеры, как выбегал обычно по утрам; голову—вперед, а руки—наотмашь. Широкими взмахами ног, задыхаясь, пробежали еще трое. Архип споткнулся около моей камеры и прохрипел, не владея восторгом:

— Скорее!.. Не теряй ни минуты!.. Беги! Сбрось кандалы!..

И исчез, как призрак.

Я вышел в коридор и сразу же был подхвачен какой-то большой воздушной волной. Эта странная волна отбросила меня назад по коридору, а потом опять хлынула обратно и неудержимо понесла вперед. Я физически ощущал дыхание этих волн и не мог им сопротивляться.

Навстречу мне волочили белую куклу двое парней. Они обливались потом, и глаза их набухли страхом и бешеной радостью. Куклу положили поперек коридора, лицом кверху. Руки были закручены за спину, и тело лежало на них всею тяжестью. Ноги тоже были туго запутаны веревками из полотна. Я узнал Мизинчика. Он смотрел на меня обалдевшими глазами оглушенного животного. Подштанники и рубашка трепыхались на нем судорожной дрожью: вероятно, и от холода и от страха. Я прошел мимо и забыл про него, потому что навстречу мне несли еще одну белую куклу, а за ней—еще. Дынников взглянул на меня спокойно. Мне почудилось, что он даже улыбнулся своей обычной усмешкой в усах. Лицо у него было в желваках от недавнего пьянства, но уже промытое трезвой и надрывной мыслью.

Двери камер кряхтели и задыхались. Кто-то ссорился недалеко от меня.

— А я тебе говорю, что не дам... К чорту!.. И ты не имеешь права...

— А ты не смеешь... Кто ты такой?.. Отпирай, товарищ... тебе говорят, отпирай!..

А далеко визжал нетерпеливый, младенчески странный голос:

— Ну, и я же... ну, и что же это, товарищи?.. Ну, сюда же!.. да ко мне же!..

И опять:

— Я сказал: не позволю и—не позволю... Я не хочу под военно-полевой... Это—идиотизм...

Кто-то бегал от камеры к камере и брызгал слюною:

— Тише же, чорт бы вас побрал, дураков!.. Бараны!.. Тише!..

Около выходных дверей в корпуса стояли двое в черных шинелях и лохматых папахах. Они прислушивались и дрожащими руками затягивали ремни. Прахов—тоже в черном тулупе и папахе—очень похож был на Дынникова. Он стоял посредине коридора и тихой командой, немного гнусаво басил в кучу людей около него:

— Как только войдет—немедленно за горло. Не забывать: прежде всего сделать немым. В рот—затычку. Раздевать, класть рядом с остальными. Надо выудить старшого—и тогда все пойдет по маслу.

Он стоял совсем неподвижно и даже как будто скучал от ожидания.

— Взять себя в руки и не терять головы. Кто дрожит—отправлю обратно. Это—не игра в бирюльки.

Он поманил меня пальцем и сам шагнул ко мне, но меня будто не видел. Лицо его было странно чужое, деревянное, почти тупое.

— Вот что, друг. Иди-ка в камеру. Тебе здесь не место. Ты вздумал бежать? Да еще в кандалах? Марш обратно и не смей выходить.

— Я не пойду в камеру, Прахов. Я не желаю оставаться.

Он вынул револьвер, прищурил один глаз, и губы у него стали тонкие и белые.

— Я тебе приказываю. Не заставляй прибегать к крутым мерам. Марш!

— Почему другим—можно, а мне—нельзя? Я протестую, Прахов.

— Если ты скажешь мне еще слово, я пришью тебя, как предателя. Ну! Шагай!

Я почувствовал, что слабею, и у меня нет никаких сил к сопротивлению. Если бы он даже не пригрозил револьвером—все равно, я не выдержал бы его лица.

— Подбери кандалы, не греми. Иди, ложись на кой-

ку. Я знаю, что делаю. Прощай! Может быть, не увидимся.

Навстречу мне размашисто шагал с папиросой в зубах Замятин. Он был без кандалов и выбрасывал ноги необычно легко и широко, должно быть, от непривычки.

— Спокойной ночи и счастливо оставаться. Чтобы бежать из казематов, надо иметь веселые и упругие ноги.

Я оглянулся. Прахов сортировал людей: брал за рукав, дергал к себе или отбрасывал в сторону. За мной нехотя брели еще несколько человек.

Уже из камеры я услышал, как Прахов приказывал Замятину:

— Опять в камеры и—на запор. А этих расставь по местам.

И без обычной дурашливости, но дурашливыми словами Замятин ответил:

— Принято к неуклонному исполнению, что подписом и приложением печати удостоверяется.

Зашоркали спутанные шаги по коридору, и звякнула неосторожная россыпь ключей.

— Валяй, ребята, восвояси. Не всякий, глаголящий: «господи, господи!»—внидет в царство небесное. Там, оказывается, тоже действует закон искусственного подбора.

Голос Архипа был рваный, но упругий и неподатливый.

— Я не пойду, Прахов. Можешь меня застрелить, задушить, но я не пойду. Употребишь насилие, буду орать, драться, но в камеру не пойду. Я решил—и выполню.

И по голосу Прахова видно было, что он усмехается.

— Можешь оставаться. Потом не скули, ежели что случится.

— Не беспокойся, пожалуйста, Прахов. За свои поступки отвечаю я. А за трусость можешь меня расстрелять.

В камеру вразвалку вошел Митря и кувырнулся на койку.

— Прогнал, сопатка. Говорит: тебе нечего бежать—всё равно скоро на волю. Оно—правильно: зима—куда пойдешь? Ну, только мне охота больно кости помять начальству. Облапил было одного гуся—прямо сердце занялось,—а он, Прахов, сволочь, цап меня за шиворот: чуть не задушил, осина-борона.

Я стоял на пороге и смотрел в коридор. Все было спо-

койно: камеры дышали уже обычным ночным безмолвием, но в этой тишине была гнетущая дрожь и взрывы сердца: вот-вот кто-то забьется в истерике и захлещет в пустоте оглушительным безумным визгом. Потом обезумеют другие, и задрожат стены от плача и звериного воя.

Замятин, пыхая папиросой, по-хозяйски подходил к камерам и широким вздохом загонял любопытных обратно в двери. И каждый взмах его руки пел с беззаботным весельем:

— Ну-ка, смело, друзья... не теряйте бодрости в неравном бою... Заходите в свои раковины и прячьте головы под камень. Учитесь оберегать свой покой у страуса: мудрая птица.

И все послушно прятались в камеры и растерянно икали от смеха, застрявшего в горле.

Он перезванивал ключами и грыз двери тяжелыми запорами.

Двое смертников, которые черными надзирателями стояли у выходных дверей, точно по команде подняли револьверы. Все, кто стоял около Прахова, мгновенно исчезли в провалах дверных каменных ниш. Прахов браво пошагал к двери. Вместе с густым облаком пара вошел старший надзиратель. В этой клубастой морозной мгле он сразу растаял, а с ним растаяли и другие две черные фигуры. А когда клубы пара осели вниз и расползлись по полу, около двери пыхтела изнуренная возня. Собачий придушенный хрип разорвал тишину:

— Он кусается, сволочь!.. Дави ему горло, стерве поганой... Его надо удавить, палача...

Спокойный и попрежнему сверлящий голос Прахова раздавил этот лай:

— Молчать! Хоть бы нос отгрызли—молчи про себя. Ты знал, на что шел,—не жалуйся! Заткни ему глотку хорошей затычкой.

Из стены вырывались остальные ребята, и с немым остервенением набросились на новую добычу. И опять так же торопливо и дружно сволокли и эту белую куклу к первым трем. Издали они бледнели нижним бельем в пыльном полусумраке, как трупы повешенных, снятых с перекладины.

Замятин с тем же беззаботным весельем захлопнул и нашу камеру. Когда я был уже за порогом, он протянул мне руку и сразу же стал совсем другой—тревожный, бледный, похудевший.

— Ты должен остаться. Это—ясно. Мы решили тебя оставить в стороне. А я люблю риск. В эти паршивые времена я все равно приговорен. Если приспичит—убежишь: торопиться тебе нечего. Ты и не догадывался, что этот побег мы с Чугуновым, инако рекомо—Праховым, порешили еще в дни оны. Прощай и мужайся. Тут нужны здоровые нервы и мускулы.

Были минуты, когда в коридоре затихало, как ночью во время сна. Не слышно было ни шагов, ни шопота, ни перезвона цепей в камерах. И это напряженное безмолвие давило последними мгновениями развязки. Вынести эту тяжесть последнего молчания не мог человек, ожидающий обычных рассветов и вечерних пепельных сумерок, койка которого нагрета скучающим телом. В эти несколько минут смертельной тишины я ждал, когда они пройдут мимо моего волчка, чтобы проводить их в невероятный путь к свободе. Но их не было, и за моим волчком реяла только мутная пустота и кромешная тишина. Что это такое? Струсили они? Опоздали? Поняли безнадежность своего положения? Раздавленный сердцем, я сел на пол около двери и стукнулся головою о стену. Передо мною у двери стоял Митря. Его черные валенки шагали на одном месте, и от них смердило удушливым потом и мокрой кошмой.

Очнулся я от задавленного, утробного рычания. По коридору катилась какая-то рыхлая глыба и стонала не горлом, а чревом. Толпа шоркала подошвами, задыхалась и билась в борьбе с этой глыбой. Я слышал, как курлыкал от неудержимого крика Архип, и как Прахов старался выправить свой надломленный бас. Как раз против нашей двери эта животная масса грохнулась на пол и закувыркалась в бешеной свалке.

Митря заплясал валенками и захлебнулся от хохота.

— Хоп, осина-борона!.. Вот это так брякнули... Ох ты, сволочь!.. Мнет и давит, как белуга... Да под пах ему, жирному борову... под пах!.. Черти сопливые, бабаи!.. А еще портки носите, мордоплюи!..

Я столкнулся головою с Митрей, и меня обдало жаром его дыхания. Он очарованно смотрел в волчок, бился в дверь, точно хотел выскочить в узкую дырку и кувырнуться в эту остервенелую грызню.

Несколько человек сидели на бычьей туше Мымри и рвали на нем шинель, рассупонивали ремни и палкой

вбивали в рот белую тряпку. А он стонал глухо, жирно, с задышкой, перекатывался на спине с боку на бок, огромный и разбухший, выскальзывал из-под тел взбесившихся людей, как скользкая, большая рыба.

Кто-то свирепо размахнулся железной фомкой и ударил его по голове. Ужас оглушил меня, и я не слышал звука железа по черепу. Я слышал только одно мычанье, глубоко спрятанное в утробе. Этот стон выдавливал изо рта туго забитую тряпку и сотрясал все тело, раздутое жиром.

Тут были и Замятин и Архип. Бывало ли такое лицо у Архипа? Оно было искажено отчаянием и яростью. Он, не переставая, бил концом палки в зубы Мымри и харкал в собачьем исступлении. Фомка опять взлетела над головой, и впервые я услышал чвокающий мясной удар. Мне почудилось, что брызги попали мне в лицо. Я гадливо стер их и пристально посмотрел на ладонь. Она была мокрая и липкая, но крови не было. А стоны все клокотали во всей туше Мымри и колыхали ее нутряными взрывами. Замятин подпрыгнул на коленках, быстро поднял руку и прицелился.

— Раз! Вот это—самый верный удар. Эге! Застрял, подлец. Не думал, что глаз построен из крепкой кости...

Волчок заслонила густая черная тень, и голос Прахова звякнул коротко и строго:

— Ну, пошли, ребята! Живо! Забирай свои ноги. Марш!

И все быстро бегущей толпой затопотали по коридору.

— Прощайте, товарищи!.. Молчите, не отвечайте!.. Прощайте и до свиданья!..

Где-то далеко упали ключи, свистнула дверь и опять тяпнула, как топор.

Мымря колыхался на спине и мычал нудно, задушливо, захлебываясь кровью. Голова его была обляпана черным студнем и в глазу торчал перочинный нож с белой костяной ручкой под прямым углом к лезвию.

И всюду дышала припадочная тишина.

Расправа

Я не знаю, сколько прошло времени после этого события: может быть, несколько минут, а может быть, час. Этот отрывок времени совсем исчез из моего сознания.

Помню одно: я стоял около волчка и смотрел на Мымрю. А он бился, дрыгал ногами и все рычал с той же потрясающей живучестью. Голова его вздрагивала кровавым сгустком, и невыносимо было смотреть на ножик в глазу, изломанный под прямым углом. Камеры дышали в коридор сдавленным шопотом и паническим бормотанием. Только где-то далеко задушливо вскрикивал по-ребячьи одинокий припадочный голос.

В глубине стен, в корпусах, вздыхали двери, звякали звонки, и сверлили воздух сверчковые свистки.

И сразу откуда-то из нутра вместе с гулом стен коридор взорвался большой толпой, ревом и погромом. Задыхаясь и не владея словами, кто-то взвизгнул короткую невнятную команду, и этот крик был похож на плач: айах!.. Огнем взметнулся воздух в оглушительном громе, и я вместе со стенами кувырнулся на пол. С замирающим сердцем и тошнотой я на четвереньках пополз под свою койку. Ударился головою о железную ножку и лег, уткнув голову в угол. Эта боль от удара опять успокоила меня, и опять все стало просто и обычно. Митря метался по камере и плакал:

— Да, господи!.. Да куды ж я-то?.. Что ж я один-то?.. Браток!.. Милый!.. Убойство ведь... По душу ведь грянули... Где же мне-то?

— Не вой... тюря!.. Лезь ко мне под койку... Ползи сюда!..

Поднялся край одеялки, и Митря, пыхтя и всхлипывая, полез на меня.

— Да что ты, чорт этакий!.. Занял все... Разве тут спрячешься?.. Куды я тут денусь?..

— Ну, иди к себе. Лезь под свою койку. Чего визжишь? Дубина!

— Да-а!.. Как же я один-то? Чай, страшно, осинаборона... Ведь смерть пришла... Нельзя, чтоб душа была сирота...

Он лепетал, как маленький,—хныкал, всхлипывал—и мял меня, не находя места. Потом залез на меня и придавил горячим, дрожащим телом.

И опять затряслись от взрыва стены и пол, и чей-то икающий, косноязычный крик залаял в пьяном отчаянии:

— Бей, их, паразитов!.. Бей!.. Стриги под бритву, дармоедов!.. Держи ниже!.. Мишени не видите, канальи... Бей!..

Кто-то хрипел и кашлял, точно его рвало.

И—опять залп, и—опять рев зверей. И стоны, как бычье мычание. Это—Мымря, а может быть, кто-нибудь другой, смертельно раненый.

Голос Мизинчика визжал по-собачьи:

— Да что вы, черти не нашего бога... в своих стреляете... Осатанели, мать вашу чорт!..

И опять истерическая команда, и опять она похожа была на крик раненого.

Лязгая железом, по коридору забегали люди. Они не кричали, а только надсадно хрипели, и эти хриплые вздохи кричали одной сумасшедшей неразберихой из матерных слов.

Воздух разлетался вдребезги и больно бил брызгами в барабанные перепонки. Глубоко в стенах выли и визжали замурованные голоса. Это были уже не отдельные выстрелы пачками, а рваная, торопливая, беспорядочная стрельба. Заскрежетала железом и забухла дверь, точно срывалась с петель. Потом сразмаху чебурахнулась на пол и раскололась с страшным треском. На голову мне обрушилась стена камнями и щебнем. Я хотел отодвинуться от стены назад, но рыхлая тяжесть Митри придавила меня к полу, и я никак не мог повернуться.

— Поднимись, Митря. Дай подвинуться, а то штукатурка бьет по лицу.

— Ну тебя к лешему! Лежи! Чорт с ней, с головой!.. Что мне—задницу, что ли, подставлять?.. Ишь, какой ловкий!..

Я разозлился. Этот скот только бережет себя, а до меня ему нет никакого дела. Хотелось вцепиться ему в горло и с яростью сбросить его с себя и вытолкать вон. Штукатурка брызгала мне в голову, и струйки песку и пыли сыпались на лоб, на глаза, попадали в ноздри и в рот. Лопались и ломались стены, и воздух задымился каменной гарью и серой.

Митря заплакал и закорчился. Руки его впивались мне в плечи скрюченными пальцами до невыносимой боли. Он полз по мне ближе к стене, давил и мял меня, и на лицо мне закапали слезы и холодная липкая слизь.

— Убери свою морду, скот! Измазал соплями. Животное!

А он прилипал ко мне дрожащим телом и плакал:

— Родненький, спрячь меня... Страх-то какой!.. Ляг на меня... Не вынесу я... Мочи моей нет...

Я с омерзением плюнул ему в лицо, но слюна моя обратно сползла мне на подбородок.

— Ну, вались к стене, урод. Поднимись немного... Ну!.. Проваливайся за меня... к стене... глухой чорт!..

И в тот момент, когда он завозился на мне, переваливая свое тело к стене, я оглох от нового взрыва. Митря внезапно дрогнул и весь обмяк, как тесто. Голова его упала мне на лицо и весь он стал стекать с меня густо и тяжело. Он очень спокойно, с нежной лаской, залепетал в ухо:

— Вот... Видишь, как?.. Вот и готово... Ты лежи... тихонько... Тебе—ничего...

И замолк, только около моего уха что-то хрипело, пенилось и разрывалось, как паутина. По щеке на шею щекотно ползла горячая тягучая струйка.

В коридоре и где-то далеко, в разных местах, громыхали запоры, выли и стонали люди, лаяли и рвались, как псы, что-то трещало и ломалось, бухали удары чем-то тяжелым, и в ужасе и боли визжали голоса в глубине камер.

Через лязг и бряканье железа в камеру прибойной волной ворвалась ревущая толпа. Меня рванул кто-то за ноги и выволок на середину пола. И чудилось, что желто-сумеречная высота камеры до туманного потолка загромождена огромными крылатыми чудовищами с косматыми лицами и раскаленными глазами. Кто-то из них заржал в смешливой злобе:

— Один—готов... Добивай другую гадину!.. Кроши с ошметками!.. Дроби позвонки, выворачивай ребра!..

Это была сплошная ералашь из невыговорной ругани, а отдельные осмысленные слова кувыркались в ворохе мата, как падающие листья на ветру.

Два раза откуда-то из высоты обрушилась на мое лицо исполинская мокрая подошва. Боли я не чувствовал, а только костистый хруст в голове, и при каждом ударе она становилась тоже огромной и плескалась полынно-горьким колокольным звоном. И не было страха—был только нелепый кошмар и бред, уродливые видения, падение в бездну и—немая безнадежность. Я чувствовал себя совсем маленьким—не больше мухи, разорванным на две части: была только голова и ноги. Голова набатно звонила и бултыхалась полынью, а по ногам кто-то изо всей мочи колотил молотком.

И когда я увидел почти около своего лица такой же

исполинский и уродливый револьвер, я не испугался: пусть стреляют—все равно... Сейчас я угасну, превращусь в ничто и совсем не почувствую боли.

Блеснула вспышка молнии, но выстрела я не услышал и не ощутил никакого толчка. Все равно: может быть, я уже убит, а может быть, это только удар той же исполинской подошвы, которая ломает кости и выдавливает внутренности.

— Бей еще—грохай почем зря!.. Видишь—не берет: засела в костях... Бей!.. Тьфу, сволочь,—осечка!..

— Вдарь своей корчагой, у меня—ни боже мой... Не орудие—пугало на воробьев...

— Да чорт ли... у меня тоже—никак: всё выстегал... Лупи рукояткой... Энтой ёлдой любой черепок—вдрызг... Стегай!.. Дай чебурахну...

Черная махина рухнула на меня целой копной шерсти и обломков, и сразу же проглотила всего без остатка. И опять оглушительно бахнул колокол и раскололся. Эта боль разбитого черепа была тупая и твердая, будто воткнули деревянный кол в голову, и он прошел до самого живота. И не знаю, звонил ли дрябло расколотый горшок, иль я это выл от омерзительной боли. Потом вдруг все смолкло, и я погрузился в густую тьму, точно попал в сухой песок, а он опускался в узкую воронку и неудержимо всасывал меня, скручивая в веревку. Где-то около самой головы молотили цепы—дзук, дзук!.. Они мягко колошматили по снопам, они вздыхали и позванивали, как пустые боченки.

В прорывах сознания я на очень короткие миги чувствовал, что меня волокут за кандалы, и голова моя безбольно бумкалась по ступеням крутой лестницы. Голова была привязана к ногам тоненькой ниточкой и вертелась на ней, чужая, распухшая и мягкая, как пузырь.

Военно-полевой

Нужно было открыть глаза, но от усилий голову пронизывала ноющая боль. Лицо залила липкая грязь. Она подсыхала, и корки ее больно вонзались в кожу. Я стонал протяжно, нудно, одним нутром, а сознание отмечало, что стонал не я, а кто-то другой, около меня—не один, а множество людей. Потом я почувствовал, что весь трясусь от страшного холода. Надо мною и всюду не-

объятным размахом—морозная пустота, и эта пустота рычит криками и плачем. И—запах ладана и горящих свечей, шоркающие шаги, шопот, сдержанный говор и далекий звон бубенчиков.

Где-то рядом пискливый, воробьиный, почти младенческий голосок невнятно дрожал обрывками слов:

— Я умираю... товарищи!.. Прощайте, товарищи!.. Жизнь... Уже... умирать... жить и умирать... ах, как хорошо... товарищи!..

Да. Это—Немилович, это—он. Так никто не мог говорить, кроме него: у других не было такого голоса. Только у него этот воробьиный всхлип трепетно вздрагивает улыбкой.

Я долго собирал силы, чтобы поднять руку и коснуться пальцами лица. Но рука была чужая, гигантских размеров—и не послушалась меня. Сжимая зубы до треска в челюстях, я толчками долго волочил ее на грудь, с груди—к подбородку, а потом—на лицо. Другой руки я не ощущал совсем и забыл, что она есть. Эти липкие льдистые сосульки застывшей слизью покрывали лицо—заливали нос, губы, шею и жирными шматками и лепешками коробились в глазницах. Кровь.

Когда я с режущей болью открыл глаза, я увидел вверху, очень близко, своды, огромными скалами сползающие с потолка. И вправо, и влево таяли в огнистой полутьме пузатые колонны и острые ребра простенков. Оттуда, из ночных сводов, черной струей стекала капелью железная цепь и расцветала горящими гроздьями. Огненные пятна ползли по стенам и колоннам, и всюду играли мутные искры, звезды и язычки пламени. Это были иконы в золотых рамах и ризах, и лица изображений тупо и бледно глядели на меня неподвижными смиренно-кроткими масками монахов и монахинь. Впереди, тоже очень далеко, сверкала золотая, причудливо увитая сусальными лозами винограда стена иконостаса с ажурными, матово сияющими дверями. Перед амвоном стоял стол с зеленой скатертью до самого пола. За столом сидело трое офицеров в серебряных погонах и белых аксельбантах, похожих на привязанные к плечам нагайки. Двое из офицеров были молодые, сочные, с лицами, вымытыми молоком. У одного черные усики—вверх, у другого рыжие—вразлет. В середине—генерал в баках, весь серебряный от погон до седой щетины на голове.

Направо—аналой в золотой парче, а за аналоем—свя-

щенник. Борода у него, как у Немиловича,—шелковая, глаженая, любимая. Он смотрел в глубину церкви, тупо скучал, держась левой рукой за наперсный крест, и похож был на этих святых, которые плоско и благочестиво скорбели на стенах и иконостасе.

Около клиросов сидели тоже офицеры. Направо—коротко остриженный, с длинными пышными усами, закрученными винтом. Другой, налево,—белокурый, курносый, очень похожий на Николая II.

Генерал часто смотрел на часы и наклонялся и вправо и влево, перешептываясь с офицерами.

Мне неудержимо захотелось посмотреть в стороны—узнать, кто около меня и почему мы—в церкви, но я никак не мог повернуть головы. Впрочем, я узнал, что кругом, по всему полу, рядами лежат товарищи. Я чувствовал это по стонам, по хрипам и по шелесту рук и ног и просто потому, что на меня со всех сторон громоздилась и дышала теплыми волнами груда тел: их теплота и дыхание наплывали на меня встречными волнами и колыхались по всему размаху здания. Потом я увидел вдали частую шеренгу солдат в шинелях, с винтовками у ног. Чернели неуклюжие фигуры надзирателей во главе с молоденьким помощником.

Генерал поднял серебряные брови и быстро дернул лицом в сторону священника. Я не разобрал его слов, а слышал только сиплый кашель. Потом он откинулся мундиром на спинку стула и ладонью стал взбивать к ушам седые бакены. Священник пропел тихо и робко какой-то возглас и раза два трепанул волосами. К аналою зашоркала черная куча надзирателей. Бородатая голова старшого истово наклонилась и кашлянула в руку. Позади прятался за спины и растерянно поглядывал в нашу сторону Мизинчик, исковерканный пережитой ночью.

Точно потрясенные одним ударом, завыли и заметались все эти нагроможденные вокруг меня люди. Подчиняясь общему гулу и стонам, я тоже закричал и завыл, извиваясь от холода и судорожной дрожи. В передних рядах кто-то надрывался от злобы.

— Не разводите же комедии, палачи!.. Вешайте сразу, если вы еще не захлебнулись нашей кровью... Это же—наглое издевательство...

Из кучи тел поднимались на локтях или садились, опираясь на руку, измазанные кровью, растерзанные люди, тянулись к столу и потрясали кулаками.

Заулюлюкал колокольчик, и генерал скомандовал что-то непонятное, но по бакам и бровям видно было, что слова сказал строгие и властные. Волна пронеслась быстро, и опять стало тихо и пусто, только под сводами звонко рокотало эхо шорохами, вздохами и шопотами.

Встал один из офицеров, справа от генерала, ткнул пальцем в пенснэ и близоруко уткнулся в бумагу. Он держал ее левой рукой в белой перчатке, а правой, без перчатки, опирался пальцами о край стола. Он стал читать быстро, но четко, с красивыми изломами в голосе, точно декламировал. Так он, вероятно, говорил с женщинами в минуты флирта или в гостиных, когда нужно вести привычную светскую болтовню. Усатый офицер злобно смотрел на него и нетерпеливо отмахивался от своих хвостатых усов.

Я изнемогал от холода, и каждая клеточка моего тела ныла и звучала, как струна. Я сжимал зубы, чтобы оборвать эту струнную дрожь, но зубы лязгали и скрипели от бессилия и боли.

Военно-полевой суд. Пройдет час, и мы все, избитые и изуродованные, будем висеть на перекладинах, которые уже ставят на одном из маленьких двориков. Я понял это сразу, но не удивился и не испугался. Я был в тупом оцепенении. Все равно. Вот и—смерть. Сейчас—ночь, и днем меня уже не будет. И их, этих моих товарищей, тоже не будет. Все равно. Совсем не страшно. Скорее бы. Больше уже не будет этих мучений. Ни ужаса, ни предсмертного крика. Только болит голова, невыносимо болит. И кровавый туман, и омерзительный холод, а вместе с холодом—удушливый огонь в голове и где-то в области живота. Зачем этот золотой и серебряный блеск? Зачем сидят эти нарядные куклы и глупо играют нелепую канитель в этом христианском храме,—бездушно, уныло, мертво, как восковые автоматы, из паноптикума? И не я, а судороги в горле и эта струнная дрожь вырываются визгом.

— Я замерзаю, мучители!.. Довольно пыток!.. Скорее душите, мерзавцы!

И—опять ералашный, безумный наплеск стонов и надрывных выкриков. Офицер будто не слышал этих припадочных проклятий и читал невозмутимо и выразительно, со смаком, а генерал все взбивал ладонью седые бакены.

Волна опять замерла и рассыпалась успокоенным

шелестом. Все равно: ведь это—неизбежная ступень к смерти.

В эти последние мгновения нашей судьбы я услышал о Прахове, об Архипе и Замятине. Было это или не было? Может быть, то, что сейчас происходит, это—бред? Может быть, это—агония, и эти уродливые тени потухнут, а мир превратится в черную бездну, лишенную измерений? Ольга... Была она или не была? Может быть, это—тоже призрак агонии?.. У ней—пустые глаза. Все равно. Это было во сне. Сны—это призраки того, чего нет. Может быть, это—игра света и теней,—только короткие вспышки звездного спектра...

Там читал офицер в белой перчатке на левой руке, его слова били по разбитым костям моего черепа, и где-то глубоко внутри творилась легенда, насыщенная жизнью.

...Восемь черных теней прошли по ночной синеве снега на маленьком дворике секретной. Вверху, над головами, недоступно лучились звезды, а внизу, по сторонам, громоздились каменные корпуса и высокие пали безнадежными преградами. Большой человек в тулупе вспыхнул спичкой и зажег папиросу. Докрасна раскалилось лицо, и тускло заогнились контуры плеч и шапок других силуэтов.

Задребезжала старая калитка, и испуганно промычал простуженный голос из тьмы:

— Это—кто?

— Ну, отворяй... Не знаешь, кто ходит в такие часы? Занозило, ядренцы...

— Виноват, вашбродь!.. Для порядку...

Ржавый скрежет запора и визг калитки. Торопливая безмолвная возня. Скрип снега под ногами. Звезды. И опять:

— Ну, отпирай. Принимай смену. Шагай, Мизинчик.

И опять—ржавый скрип калитки и скрежет запоров. И опять—безмолвная возня и скрип снега под торопливыми шагами.

А уже перед каменной крепостной стеной, высокой, как скала, врезающейся в двухэтажные корпуса зданий, набатно завыл колокол и пронзительно завизжали сверчковые свистки. Где-то далеко, в утробе внутренних стен, глухо захлопали двери, и в панике залаяли голоса.

Выхода не было. Восемь человек наглухо были отрезаны от мира. Последний шаг их был отброшен от ворот тюрьмы в каменный тупик. Чтобы коснуться свободы,

нужно было разбить черепа о кирпич неприступной стены. Смерть. Смерть и—там, позади, смерть и—здесь, у подножия крепостной преграды, скалой улетающей к звездам. Свобода—так близко, и есть еще надежда перешагнуть через невозможное, которое тьмою смотрит в глаза. Лучше смерть—здесь, в борьбе за жизнь, чем позади—в тупой покорности перед веревкой.

Прахов с уверенностью человека, выполняющего будничный труд, заботливо распоряжался:

— За мной, товарищи! Лестница на крышу. Валяй смелее...

Один за другим, гуськом, стали карабкаться, как пауки, с торопливой поспешностью. Зарокотало железо под ногами, а позади, в глубине,—там, где были казематы старой секретной,—набатно выл колокол, свистели сверчки, и захлебывались голоса, придушенные ночью.

Внизу, под стеною, в изумлении и страхе, стояла окоченелая тень караульного солдата, и видно было, что он обалдело смотрит на эти невиданные ночные тени, блуждающие по крыше, не может двинуться с места, оцепенелый от ужаса, и не в силах вскинуть винтовки. Прахов наставил на него револьвер, и с угрозой скомандовал, как боевой солдат, которому уже нет спасения, который ждет удачи только от чуда:

— Кругом марш!.. Бегом!.. Брось винтовку!..

И, подчиняясь этому окрику, солдат побежал вдоль стены, судорожно вцепившись в штык, и его черная крылатая тень трепыхалась в ночном мерцании снега, как огромный уродливый нетопырь..

— Прыгай, ребята!.. Осторожнее... Не поломай ног...

И Прахов первый полетел вниз, как исполинская птица. Вслед за ним ворохом закувыркались другие.

Свобода—так близко: она—вот, в этом снежном размахе полей и далеких волнистых взгорий, в этом безбрежном просторе бездонного неба, блистающего звездами. Вон, недалеко, за молочным перевалом оврага, дрожат и уютно дышат теплом людского жилья оранжевые домашние огоньки, а вправо, в ночном морозном тумане, подземными вздохами рокочет город, издали похожий на взгроможденные вороха льдин на оснеженной реке. Вот она—жизнь и свобода. Нужно только броситься в молочный овраг и затеряться в этих лачугах рабочего предместья. Черные тени заползали по снегу и одна за другой покатились вниз, по сугробам оврага.

Около стены, прилипая к снегу, закорчились и застонали четыре беспомощных тела.

— Товарищи!.. Помогите!.. Вызволяйте, товарищи! Мы—обезножили...

А потом, падая на грудь, поползли, смертельно раненные, вслед за другими.

С бархатным изломом в голосе декламировал офицер в белой перчатке:

— ...Из них скрылись: государственный преступник Чугунов, он же—Прахов, ссыльно-поселенец Архип Цветков и двое приговоренных к смертной казни... Государственный преступник Замятин обнаружен в овраге, что около тюрьмы, в бессознательном состоянии, обмороженный, с переломом обеих ног. В том же овраге, в разных местах обнаружены остальные...

В груди клокотала радость. Милый Прахов, милый Архип! Я также свободен, безгранично свободен... Все так просто и не страшно, когда в сердце клокочет радость.

Среди внезапной тишины—солдатский рапортующий голос:

— Трое скончались. Четверо отходят.

Что-то выкрикивал офицер с хвостатыми усами. Он махал рукой в нашу сторону и бил кулаком по столику. Говорил и другой офицер, похожий на Николая II. Говорил невнятно и гнусаво. Он часто сморкался в платок и потрясал своды церкви трубным ревом. Должно быть, у него был насморк.

И голос Мизинчика был хриплый и больной. Он, Мизинчик, старался стоять браво, как старый служака, но, потрясенный, не мог владеть собой и горбился.

— Его благородие, господин Дынников, сейчас же были убиты... как есть раздался первый залп... Ну, нас развязали... Никого из заключенных, которые заперты, в коридоре не было... Преступником Праховым взяты были только желающие... а все никак не пожелали...

Простяга Мизинчик! Он не изменил себе и в этот час. Грозная сила не затуманила его добрых медвежьих глаз.

Я уже не слышал, что говорили там, около стола. Теряя сознание, я погрузился во тьму и невыносимый холод. Потом опять на мгновение в поющих звуках и вспышках свечей блеснуло сознание... И опять—холод и мрак. Разорванным образом сна озарялись клеточки мозга, и я

равнодушно, далекий от жизни, погружался в ледяные глубины, безучастно внимая недостижимо мерцающим голосам.

— ...Военно-полевой суд... всех, находившихся в камерах... не участвующих... оправдать... Государственных преступников... захваченных... в тяжелом состоянии... Замятина... подвергнуть смертной казни через повешение... немедленно привести в исполнение...

...Огромный шквал подбросил меня, как пылинку. Я летел долго и плавно. Рев, хохот, рыдания потрясали колонны и стены. Кто-то кричал раздирающим голосом, захлебывался, рвался, бился в припадке бешенства. Большая толпа бегала в панике по всему размаху церкви, сбивалась в плотные кучи, опять разбегалась и задыхалась от изнеможения и ужаса. И среди этой толчеи и топота надсадный голос Замятина выл, как труба:

— Товарищи!.. Прощайте, товарищи!.. Погибаю, товарищи!.. Будьте вы прокляты, палачи и убийцы!.. Будьте вы прокляты!.. На всю жизнь запомните, товарищи... Проща-айте!..

И сквозь рев и гул толпы я опять погрузился в холодную бездну.

1926 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Трое в одиночке	3
В коридоре	10
Прогулка	13
Жмурки	18
Бунт	24
В карцере	29
Голодные дни	33
Человек с золотыми крылышками	49
Победа	53
Черная тень	61
Свидание с Ольгой	65
Слепая пустота	68
Последнее свидание	78
Провал	81
Опять бунт	91
На другой день	94
Свидание у волчка	101
Побег	105
Расправа	114
Военно-полевой	118

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «30 ДНЕЙ»

Государственное акционерное издат. об-во
«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА» (ЗИФ)
Отдел периодических и подписных изданий
Москва, Никольская, 10. «ЗИФ»

